

Владимир
СОРОКИН



ПУТЬ БРО

Владимир Георгиевич Сорокин
Путь Бро
Серия «Ледяная трилогия», книга 1

Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=145764
Сорокин, В. Ледяная трилогия: Путь Бро. Лед. 23 000 : АСТ, Астрель; Москва; 2009
ISBN 978-5-17-050035-2, 978-5-271-23126-1

Аннотация

«Путь Бро» – роман Владимира Сорокина. Полноценное и самостоятельное произведение, эта книга является также «приквелом» (предысторией) событий, описанных в романе «Лёд», вышедшем двумя годами ранее, и составляет первую книгу трилогии.

Содержание

Детство	4
Революция	16
Дорога	20
Петроград	22
Экспедиция	28
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Владимир Сорокин

Путь Бро

Детство

Я родился 30 июня 1908 года в имении моего отца Дмитрия Ивановича Снегирева. Отец к тому времени состоялся как крупнейший российский сахарозаводчик и владел двумя именьями – в Васкелово, под Санкт-Петербургом, где я родился, и в Басанцах, на Украине, где мне суждено было провести свое детство. Помимо этого у нашей семьи был небольшой, но уютный деревянный дом в Москве на Остоженке и большая квартира на Миллионной в Санкт-Петербурге.

Имение в Басанцах отец выстроил сам в «троглодитову эру сахарного дела», когда купил две тысячи десятин плодородной украинской земли под сахарную свеклу. Он был первым русским сахарозаводчиком, решившим обзавестись собственными сахарными плантациями, а не скупать буряки по старинке у крестьян. Там же они с дедом построили сахарный завод. В имении не было большой необходимости, так как семья уже жила в столице. Но опасливый дед настоял, повторяя, что «хозяин в наше лихое время должен быть поближе к бурякам и заводу».

Басанцы отец недолюбливал.

– Страна хохляцких мух, – часто повторял он.

– Мухи на твой сахар летят! – смеялась матушка.

Мух там и впрямь было предостаточно. Жара стояла все лето. Но зима была чудесной – мягкой и снежной.

Имение в Васкелово отец приобрел попозже, когда уже стал по-настоящему богатым человеком. Это был строгий старинный дом с колоннами и двумя флигелями. Именно в нем мне суждено было появиться на свет. Роды случились преждевременно, матушка недоносила меня две недели. По ее словам, причина тому – удивительная погода, стоявшая в тот день. Несмотря на безоблачное небо и безветрие, вдруг раздались раскаты далекого грома. Гром этот был необычный: мама не только услышала его, но и *почувствовала* плодом, то бишь мною.

– Гром тебя словно подтолкнул, – рассказывала она. – Ты родился легко и весил как доношенный ребенок.

В последующую ночь на 1 июля северная часть неба оказалась необычно и сильно подсвечена, поэтому ночи как таковой вовсе не было: вечернюю зарю сразу сменила утренняя. Это было очень странно – белые ночи к концу июня иссякают. Матушка моя шутила:

– Небо светилось в твою честь.

Родила меня она на жестком и всегда прохладном кожаном диване в кабинете отца: схватки застали ее за «дурацким разговором о старой клумбе и новом садовнике». Прямо напротив этого дивана во всю стену тянулись дубовые полки с сахарными головками. Каждая отливалась из сахара своего урожая и весила пуд. На каждой стоял отгиск ее года. Масивные белые конусы из крепчайшего рафинада, вероятно, были первым, что я увидел на этом свете. Во всяком случае, они вошли в мою детскую память наравне с образами матери и отца.

Меня окрестили Александром в честь русского святого и полководца Александра Невского и в память моего прадеда Александра Саввича, зачинателя купеческого дела Снегиревых. Звали меня все по-разному: отец – Александром, мама – Шурой, тетушки – Сашенькой, сестры – Шуренком, старший брат Василий – Алексом, брат Ваня – Саней, гувернантка

Madam Panaget – Саша, объездчик Фрол – Ляксандром Дмитричем, конюх Гаврила – малым барином.

В семье было семеро детей: четверо сыновей и три дочери, одна из которых, Настя, была горбуньей. Еще один мальчик умер от полиомиелита в пятилетнем возрасте.

Я оказался поздним ребенком – самый взрослый из братьев, Василий, был старше меня на семнадцать лет.

Мой отец был высоким, лысоватым и мрачноватым человеком с длинными и сильными руками. В характере его переплетались энергичность, обстоятельность, мрачноватая задумчивость, грубость и властолюбие. Иногда он мне напоминал машину, которая периодически ломалась, чинила себя и снова исправно работала. Он боготворил прогресс и посылал управляющих четырех своих заводов учиться в Англию. Но сам за границу не любил, повторяя, что «у них там надо по струне ходить». Он был совершенно не способен к языкам и по-французски знал три десятка заученных фраз. Мать рассказывала, что за границей он терялся и чувствовал себя не в своей тарелке. Отец происходил из старого купеческого рода саратовских зерноторговцев, постепенно сделавшихся фабрикантами. Большой семье Снегиревых принадлежали четыре сахарных завода, кондитерская фабрика и пароходство. В молодости отец учился в Саратовском университете на политехническом факультете, но с третьего курса ушел по непонятным причинам. И сразу впрягся в семейное дело. Раз в два месяца он впадал в мрачный запой (к счастью, не более чем на трое суток), нередко громил мебель и ругал мать последними словами, но ни разу не поднял на нее руку. Протрезвев, просил у нее прощения, ехал в баню, потом в церковь – каяться. Но сильно верующим он не был.

Детьми же он вовсе не занимался. Мы были на попечении матушки, нянек, гувернанток и бесчисленных родственников, кишевших в обоих имениях.

Моя мать являла собой образец жертвенной русской женщины, забывшей себя ради детей и семейного благополучия. Наделенная замечательной красотой (она была наполовину осетинкой, наполовину теркской казачкой), горячим сердцем и широкой душой, она отдала свою бескорыстную любовь сначала отцу, который влюбился в нее до беспамятства на Нижегородской ярмарке, потом нам, детям. К тому же мать была гостеприимна до безумия: уехать от нас случайно заглянувшему гостю было решительно невозможно.

Хоть я и рос самым младшим в семье, самым любимым я не был: отец привечал смышленного и послушного Илью, проча его в приемники, мать обожала красивого и нежного Ванюшу, любителя книг про королей и вареников с вишнями. Силач и балагур Василий у отца слыл повесой, у которого «в голове черти горох молотят», а я – шалопаем. Три сестрицы мои характерами почти не различались: энергичные, жизнелюбивые, в меру эгоцентричные и впечатлительные, они легко и надолго впадали как в слезы, так и в хохот. Все трое яростно музицировали, и в этом горбатая Настенька преуспевала, всерьез готовясь к карьере пианистки. Разнились сестры только отношением к отцу. Старшая, Ариша, его боготворила, средняя, Василиса, боялась, Настя ненавидела.

Семья жила в четырех местах: Василий в Москве, где мучительно и бесконечно учился на адвоката, Василиса и Ариша – в Петербурге, Ваня с Ильей – в Васкелово, а мы с Настей – в Басанцах.

До девяти лет я прожил и получил воспитание в усадьбе. Помимо гувернантки французки, занимавшейся со мной иностранными языками и музыкой, у меня был домашний учитель Диденко – молодой человек с невзрачной внешностью и провинциальными манерами, тихим и вкрадчивым голосом учивший меня всему, что знал. Более всего ему нравилось рассказывать о великих завоевателях и небесных телах. Говоря о походах Ганнибала и солнечном затмении, он преображался, и в его мутных глазах появлялся блеск. К

моменту поступления в гимназию я знал, чем отличается Аттила от Александра Македонского, а Юпитер от Сатурна. Хуже дело обстояло с русским языком и арифметикой.

Догимназическое детство мое было вполне счастливым. Теплая и богатая природа Украины качала меня, как колыбель: я ловил птиц и рыбу с сыновьями управляющего, катался с отцом на английском катере по Днепру, собирал гербарий с французенкой, дурачился и музицировал с Настей, ездил на свекловичные поля и на покос с объездчиком, ходил в церковь с матушкой и тетками, учился верховой езде с конюхом, а по вечерам наблюдал в телескоп за светилами с Диденко.

В августе вся семья встречалась в Васкелово.

Южная украинская природа уступала место русскому северу, и вместо каштанов и тополей наш белый дом с колоннами обступали строгие и сумрачные ели, меж вековыми стволами которых проблескивало озеро. Длинная каменная лестница вела к нему от дома. Сидя на ее замшелой гранитной ступени и свесив ноги над водой, я любил кидать в озеро камни, глядя, как рождается круг на воде и, стремительно расширяясь, скользит по стеклу озера, несясь к каменистым берегам.

Озеро было всегда холодным и спокойным. А наша многочисленная семья – шумной и многоголосой, как стая весенних птиц. Лишь мрачноватый и малоразговорчивый отец казался в этой стае грозным вороном. Мне было хорошо в кругу родных, который, как и круги на воде, расширялся с каждым днем, пополняя оба имения новообретенными родственниками и родственниками этих родственников. Богатство отца, гостеприимство и сдобность матери, домашний уют и достаток притягивали людей как мед. Приживалы и приживалки, странствующие монахи и спивающиеся актеры, купеческие вдовы и проигравшиеся майоры гудели по гостиным и флигелям пчелиным роєм. В будни, когда садились обедать, стол накрывался человек на двадцать. В дни праздников и именин в столовой северного имения сдвигались три стола, а в Басанцах столы выносили в сад, под яблони.

Отец этому не препятствовал. Наверно, он любил такой стиль жизни. Но особого восторга на его лице во время семейных пиршеств я не замечал. Хохотал и плакал он только сильно пьяный. И я никогда не слышал от отца слово «счастье». Был ли он счастлив? Не знаю.

Матушка же безусловно была счастлива. Ее светлый дух человеколюбия и созидания парил и реял над нами. Хотя она частенько повторяла, что «счастье – это когда хлопот невпроворот и некогда задумываться».

В этом человеческом улье я рос здоровым и счастливым.

Я, как и матушка, особенно не задумывался, спрыгивая в июльский полдень с пыльной двуколки объездчика и несясь через анфиладу прохладных комнат на звуки «Баркаролы» с букетиком земляники, собранной мной на дальних лугах и перевязанной травинкой, чтобы вручить его музицирующей Настеньке, одновременно положив на ее горб улитку или жука, что вызывало вскрик, плескание в меня недопитым молоком, битье «Временами года», примирение и совместное поедание ягод на нагретом солнцем подоконнике.

Лишь одна странность в детстве пугала и притягивала меня.

Мне часто снился один и тот же сон: я видел себя у подножия громадной горы, такой высокой и беспредельной, что у меня *вяли* ноги. Гора была *ужасно* большая. Такая большая, что я начинал мокнуть и *хлебно крошиться*. Вершина ее уходила в синее небо. До вершины было *очень* высоко. Так высоко, что я весь гнулся и разваливался, как булка в молоке. И ничего не мог поделать с горой. Она стояла. И ждала, когда я посмотрю на ее вершину. Это все, чего она хотела от меня. А *никак* не мог поднять свою голову. Как я мог это сделать, если весь гнулся и крошился? Но гора *очень* хотела, чтобы я посмотрел. Я понимал, что если не посмотрю, то весь раскрошусь. И *навсегда* стану хлебной тюреей. Я брал голову руками и начинал поднимать ее. Она поднималась, поднималась, поднималась. И я смотрел, смотрел и

смотрел на гору. Но все не видел, не видел и не видел вершины. Потому что она была высоко, высоко, высоко. И *страшно* убегала от меня. Я начинал рыдать сквозь зубы и задыхаться. И все поднимал и поднимал свою тяжелую голову. Вдруг спина моя переламывалась, я весь разваливался на мокрые куски и падал навзничь. И видел вершину. Она сияла СВЕТОМ. Таким, что я *исчезал* в нем. И это было так *ужасно* хорошо, что я просыпался.

Утром я подробно помнил этот сон и за завтраком пересказывал его родным. Но на них это не производило должного впечатления.

Отец со свойственной ему грубоватой прямоотой советовал «поменьше фантазировать, побольше дышать кислородом». Мать же просто крестила меня на ночь, кропила святой водой и клала под подушку образок Целителя Пантелеймона. Сестры не находили в моем сне ничего удивительного. Братья меня попросту не слушали.

В течение дня загадочная гора иногда всплывала для меня одного то тут, то там – сугробом возле крыльца, клином торта в тарелке сестры, можжевельным кустом, подстригаемым садовником в виде пирамиды, метрономом Настеньки, горой сахарного песка на отцовском заводе, углом моей подушки.

Но к обычным горам я тем не менее был равнодушен. Показанный Диденко красивый атлас с надписью «Les plus grands fleuves et montagnes du Monde» не поразил меня узнаванием: среди Джомолунгмы, Юнгфрау и Арарата моей горы не было. Это были просто какие-то обычные горы. Мне же снилась Гора.

Постепенно мое райское детство стало давать трещины. И в них просачивалась русская жизнь. Сперва в виде слова «война». Мне было шесть лет, когда я услышал его на террасе нашей украинской усадьбы. Мы сильно заждались отца с завода к обеду и по команде матушки принялись уже за трапезу, как вдруг прогремели дрожки и он вошел как-то медленной обычного. Серьезный, грозно торжественный, в нанковой тройке с белой шляпой и газетой в руках.

Бросил газету на стол:

– Война!

Вытащил из кармана платок, отер им крепкую длинную шею:

– Сперва австрийская сволочь, потом пруссаки. Хочется им Сербию сожрать.

Сидящие за столом мужчины повставали с мест, обступили отца и загалдели. Настя с Аришей растерянно посмотрели на мать. Она выглядела испуганной. Я же, прожевывая слишком большой кусок пирога с яйцом, уставился на газету. Она лежала рядом со мной между графином с малиновым морсом и блюдом с бужениной. Большое черное слово ВОЙНА было сложено пополам. Под ним виднелось слово поменьше – СЕРБИЯ. Оно заставило меня вспомнить серп, которым бабы жали пшеницу и гречиху на наших приусадебных полях. Прусаками у нас звали рыжих тараканов. Представив, как они рыжей тучей набросятся на железный СЕРП и сожрут его, к ужасу жницы, я содрогнулся и шумно выплюнул на газету непрожеванный кусок.

На меня никто не обратил внимания. Мужчины сдержанно галдели вокруг отца, стоявшего, как обычно, слишком прямо и, выставив сильный подбородок, что-то говорящего им об ультиматуме Австро-Венгрии. Женщины притихли.

Я же смотрел на непрожеванный кусок пирога, лежащий на черном слове ВОЙНА. Не знаю почему, но на всю жизнь для меня это стало символом войны.

Потом война вошла в обиход.

За завтраком вслух зачитывались вести с фронта. Имена генералов стали почти родными. Мне почему-то больше всех нравился генерал Куропаткин. Я представлял его дядькой Черномором из «Руслана и Людмилы». Еще мне нравилось слово «контрнаступление». Мы перебрались в Васкелово, ездили на вокзал провожать наши войска, мама и сестры шили белье для раненых, резали бинты, делали ватные тампоны, посещали лазареты и однажды

снялись на фотографии вместе с государыней и ранеными. Василий, несмотря на протест отца и слезы матери, пошел вольноопределяющимся.

Вскоре после начала войны я познакомился еще с двумя верными спутниками человечества – насилием и любовью.

Весной отец поехал в Басанцы, прихватив нас с Настей. Было Вербное воскресенье, и мы на трех дрожках с тетушками и приживалами отправились в церковь. Красивая, бело-голубая, обновленная отцом, она стояла на краю села Кочаново – соседнего с Басанцами. В церкви мне всегда было уютно и спокойно. Мне нравилось, что все крестятся, кланяются и поют. В этом было что-то загадочное. Во время службы я старался все делать как взрослые. Когда батюшка стал брызгать святой водой на вербные ветки и капли попали мне на лицо, я не засмеялся, но стоял спокойно, как все. Однако к концу я всегда начинал скучать и не понимал, почему все это должно длиться так долго.

Когда служба кончилась, мы с толпой народа стали выходить из храма. Прямо за нами возникла толчея и несколько голосов заспорили:

– Хохлы завсегда первыми лезут!

– Поприихалы москали товкатыся!

Погода стояла весенняя, светило солнце, остатки снега хрустели под ногами. Отец и тетушки стали одаривать нищих, а мы с Настей сели в бричку и смотрели на площадь перед церковью. Она вся была запружена народом. Некоторые были уже пьяны. Здесь толкались селяне хохлы и заводские, которые работали на заводе отца. Завод стоял в версте от села, а прямо за широким оврагом начинался заводской поселок, выстроенный еще моим дедушкой. Хохлы лузгали тыквенные семечки и галдели, заводские курили и пересмеивались. Вдруг в толпе кто-то вскрикнул, послышался звук оплеухи, чей-то картуз покатился, возникло оживление, и мужчины побежали к оврагу. Женщины завизжали и побежали следом. Вмиг площадь опустела, на ней остались только нищие, калеки, два урядника с большими шашками да мои родные.

– А куда это они? – спросил я Настю, которая была старше меня на четыре года.

Жуя просфорку, Настя шлепнула ладошкой по ватной спине извозчика:

– Микола, куда они побежали?

Смуглолицый хохол с вислыми усами обернулся, заулыбался:

– То, барыня, побиглы бисови диты морды быты.

– Кому? – насторожилась Настя.

– А сами соби.

– За что?

– Та нэ знаю...

Мы привстали на дрожках. В овраге мужчины выстроились в две шеренги – в одной заводские, в основном приезжие русские, в другой – местные селяне-украинцы. Женщины, старики и дети стояли на краю оврага и смотрели сверху. Снова махнули шапкой, и началась драка. Она сопровождалась женским визгом и подбадривающими криками. Впервые в жизни я видел, как люди сознательно избивают друг друга. В нашей семье, кроме отцовских подзатыльников, маминых шлепков и постановки провинившегося ребенка в угол, наказаний не было. Отец часто орал на маму до посинения, топал ногами на прислугу, грозил кулаком управляющим, но никогда никого не бил.

Я смотрел на драку как замороженный, не понимая смысла происходящего. Люди в овраге делали что-то очень важное. Делали *тяжело*. Но очень старались. Так старались, что чуть не плакали. Они кряхтели, ругались и вскрикивали. И словно что-то *отдавали* друг другу кулаками. Мне стало интересно и страшно. Я стал дрожать. Настя заметила и обняла меня:

– Не бойся, Шуренок. Это же мужики. Папа говорит, что они только пьют и дерутся.

Я взял Настину руку. Настя смотрела на драку как-то *непонятно*. Она словно перестала быть сестрой. И стала далекой и взрослой. А я остался один. Драка продолжалась. Кто-то падал на снег, кого-то таскали за волосы, кто-то отходил, плюясь красным. Настина рука была горячей и чужой.

Наконец засвистели урядники, закричали старики и женщины.

Драка прекратилась. Драчуны с руганью двинулись восвояси – хохлы в Кочаново, фабричные – в поселок. Моя сердобольная мама не удержалась и выкрикнула им вслед:

– Бесстыдники! Православные с немцем воюют, а вы в праздник друг другу морды бьете!

Отец усмехался краем тонкогубого рта:

– Ничего, пусть попотешат жилку. Покойнее будут.

Он опасался стачек и забастовок, сотрясших русские заводы в 1905 году. Но все же был доволен: демобилизация его рабочих не коснулась, так как сахар в военное время был приравнен к стратегическим продуктам. Война сулила отцу большой барыш.

Мама села к нам, кучер дернул поводья, чмокнул, дрожки тронулись. Я отпустил руку Насти. Мимо шли двое заводских парней в распахнутых зипунах. Глаз одного был подбит, но радостно поблескивал. Другой парень трогал разбитый нос. Матушка негодуя отвернулась.

– Во как, барин, хохлов поучили! – Парень с подбитым глазом вытащил что-то из костяшки левого кулака, показал мне, подмигнул и засмеялся. – Зуб хохляцкий в колотуху влип!

Его приятель быстро наклонился и сильно высморкался. Красные брызги окрасили снег. Парни были *счастливы*. У обоих был какой-то *невидимый* подарок. Получили они его в драке. И шли с ним домой.

Но я так и не понял, *что* это за подарок. А Настя и другие взрослые – понимали. Но не говорили. Мне вообще *много* не говорили.

Тайны мира я открывал сам.

В конце июля мы перебрались в Васкелово. В полдень после двухчасового занятия с madam Panaget я пил топленое молоко с гонобобелем и отправлялся в сад погулять до обеда. Обустроенный полтора века назад, сад сохранил лишь остатки былой роскоши – прежний владелец совсем не заботился о нем. Я любил пускать бумажные кораблики в пруду, лазить по пригнувшейся к земле раките или, спрятавшись за можжевельниковыми кустами, бросаться еловыми шишками в старого мраморного фавна. Но в тот день не хотелось ничего. Настя в доме музицировала, мама с няней варили варенье, отец, прихватив Илью и Ивана, уехал в Выборг покупать какую-то машину, Ариша и Василиса дремали с книжками в шезлонгах. Я побрел по саду, достиг его самого заросшего угла и вдруг увидел нашу горничную Марфушу. Протиснувшись меж двух раздвинутых железных прутьев в ограде, она скрылась в лесу, начинающемся прямо за садом. В ее торопливых движениях было что-то совсем не похожее на нее – пухло-спокойную, неспешно-улыбчивую, с глуповатым выкатом карих глаз. Я почувствовал в этом тайну, пролез в ограду и осторожно побежал за Марфушей. Ее строгое синее платье с белым передником необычно выделялось на фоне дикого леса. Девушка быстро шла по тропинке, не оборачиваясь. Я шел следом по мягкой от хвойных иголок земле. Густой старый ельник стоял вокруг. В нем было сумрачно и перекликались редкие птицы. Через полверсты он оборвался: здесь начиналось небольшое болото. На опушке леса были устроены три шалаша из еловых веток. Каждую весну отец с друзьями охотился здесь на тетеревов, токующих на болоте. Из шалаша раздался свист. Марфуша остановилась. Я спрятался за толстую ель. Марфуша оглянулась и вошла в шалаш.

– Я уж думал – не придешь... – раздался мужской голос, и по нему я узнал Клима, молодого слугу.

– Скоро обедать сядут, барыня варенье варит, господи, хоть бы не хватилась... – быстро заговорила Марфуша.

– Не бойсь, не хватится... – пробормотал Клим, и они стихли.

Я, крадучись, пошел к шалашу, чтобы вскрикнуть и испугать их. Дойдя до края шалаша, я уже было открыл рот, но замер, увидя сквозь высохшие еловые ветки Клим и Марфушу. На земле в шалаше была постелена мешковина. Они стояли на ней на коленях и, обнявшись, сосали друг другу рты. Я никогда не видел, чтобы люди так делали. Клим сжимал рукой грудь Марфуши, и она постанывала. Это длилось и длилось. Руки Марфуши бессильно висели. Щеки ее горели румянцем. Наконец рты их разошлись, и кудрявый худощавый Клим стал расстегивать Марфушино платье. Это было совсем *непонятно*. Я знал, что снимать платье с женщин может только доктор.

– погоди, передник сниму... – она сняла передник, аккуратно сложила и повесила на ветку.

Клим расстегнул ей платье, обнажил ее молодую и крепкую грудь с маленькими сосками и стал жадно целовать, бормоча:

– Люба моя... любя моя...

«Он что – ребенок?» – подумал я.

Марфуша вздрагивала и прерывисто дышала:

– Климешка... светик мой... а ты меня правда любишь?

Он пробормотал что-то, стал дальше расстегивать синее шуршащее платье.

– Не надо так... – Она отстранила его руки, подняла подол платья.

Под платьем была белая нательная рубашка. Марфуша подняла ее. И я увидел женские бедра и темный треугольничек паха. Марфуша быстро легла на спину:

– Господи, грех-то какой... Климешка...

Клим приспустил штаны, повалился на Марфушу и беспокойно заворочался.

– Ох, не надобно этого... Климешка...

– Молчи... – пробормотал Клим, ворочаясь.

Он стал быстро двигаться и рычать как зверь. Марфуша же стонала и вскрикивала, бормоча:

– Господи... ой, грех-то... господи...

Тела их дрожали, щеки налились кровью. Я остро понял, что они делают что-то очень постыдное и тайное, за что их накажут. К тому же им было очень тяжело и, наверно, больно. Но им *очень-очень* хотелось это делать.

Вскоре Клим крякнул, как крякают мужики, когда раскалывают колуном полено, и замер. Он словно заснул, лежа на Марфуше, как на перине. Она же тихо стонала и гладила его кудрявую голову. Наконец он заворочался, приподнялся, вытер рот рукавом.

– Господи... а ежели ребеночек будет? – подняла голову Марфуша.

Клим смотрел на нее так, словно впервые видел.

– Вечеру придешь? – хрипло спросил он.

– Господи, кто ж меня пустит? – Она стала застегиваться.

– Приходи, как стемнеет... – Клим шмыгнул носом.

– Климешка, касатик, что ж таперича будет? – Она вдруг прижалась к нему.

– А ничаво не будет... – пробормотал он.

– Ой, побегу я... – вздохнула она.

– Ступай, я опосля... – Клим сумрачно покусывал веточку.

– Сзади не мокро на подоле?

– Не-а...

Я стал пятиться от шалаша, повернулся и побежал к дому.

Увиденное в шалаше потрясло меня так же, как и драка в овраге. Я понял всем своим маленьким существом, что и то и другое – очень важно для людей. Иначе бы они не делали это с такой страстью и силой.

Про деторождение вскоре я узнал от брата Вани. После чего сцена в шалаше обрела еще одно измерение: я понял, что дети рождаются от *тайного кряхтения*, которое тщательно скрывается ото всех. Ваня поведал мне, что детей делают только ночью. Я стал прислушиваться по ночам. И однажды, проходя мимо родительской спальни, услышал те же стоны и кряхтение. Вернувшись к себе в постель, я лежал и думал: какое это все-таки странное занятие – делать детей. Одно было непонятно – почему это скрывается?

Утром за завтраком, когда Марфуша, Клим и старый папин слуга Тимофей обслуживали нас, а сидящие за столом, как обычно, обсуждали фронтовые сводки, я вдруг спросил: – А у Марфуши будет ребенок?

Разговор стих. Все посмотрели на Марфушу. Она в этот момент держала фарфоровую чашу, из которой седовласый и мясистоносый Тимофей с неизменным страдальчески-озабоченным выражением лица раскладывал уполовником по тарелкам манную кашу. Клим, стоя в углу столовой у самоваров, наполнял чаем стаканы. Марфуша покраснела сильнее, чем тогда в шалаше. Чаша в ее руках задрожала. Клим косо глянул на меня и побелел.

Спасла всех матушка. Вероятно, она догадывалась о связи горничной и слуги.

– У Марфуши, Шурочка, будет пятеро детей, – произнесла матушка.

И добавила:

– Трое мальчиков и две девочки.

– Правильно... – хмуро согласился отец, обильно поливая свою кашу вареньем. – А потом – еще пять. Чтоб было кому на войну идти.

Все одобрительно засмеялись. Марфуша попыталась улыбнуться.

У нее это получилось плохо.

С каждым месяцем война вторгалась в нашу жизнь все сильнее. С фронта вернулся Василий. Вернее – его привезли с вокзала в отцовском автомобиле. Автомобиль дал три гудка, мы побежали встречать героя войны, писавшего короткие, но сильные письма. Василий вылез из автомобиля и, опираясь на шофера и Тимофея, стал подниматься к нам по лестнице. Он был в шинели, фуражке и с сильно желтым лицом. Тимофей осторожно держал его деревянную палку. Василий как-то виновато улыбался. Мы кинулись его целовать. Мама рыдала. Отец подошел и стоял, напряженно глядя на Василия и моргая. Сильный подбородок его подрагивал.

В Польше под Ловичем Василий попал под газовую атаку немцев. Хотя брата отравили хлором, змеиное слово «иприт» вползло в меня.

Сидя в гостиной у растопленного камина, Василий пил чай с пирожными и рассказывал о том, как бежал от облака хлора, как убил восемь немцев из пулемета, как одним снарядом разорвало на куски двух его фронтовых друзей – прапорщика Николаева и вольноопределяющегося Гвишиани, как бесшумно снимают часовых волосяной веревкой «цыганская невеста», как бороться со вшами и с танками, какие у немцев *капитальные* огнеметы и какое множество русских трупов лежало в огромном пшеничном поле после Брусиловского прорыва.

– Лежат ровными рядами, словно нарочно подравняли. Шли на пулеметные гнезда. Их и косили, как пшеницу.

Мы слушали, затаив дыхание. Стакан с чаем дрожал в желтой руке Василия. Он постоянно коротко подкашливал, глаза его слезились и были теперь всегда красные, словно он только что поплакал. При ходьбе Василий задыхался и, чтобы отдышаться, стоял, опершись на палку.

Отец отправил его в Пятигорск на воды.

А через год в Москве мой старший брат покончил собой, выстрелив одновременно из нагана в висок, а из дамского браунинга – в сердце. Ваня сказал, что Василий застрелился из-за замужней женщины, которую безнадежно любил еще до войны.

Отец стремительно богател и все более зависел от войны. Дела его шли в гору. У него появилось множество новых знакомых, в основном – военных. Он стал больше и чаще пить и редко бывал дома, повторяя, что теперь «живет на колесах». Вокруг него шныряли какие-то тонкоусые и энергичные молодые люди, которых он называл комиссионерами. Он *занимался* уже не только сахаром, но и многим другим. Когда он кричал в телефон, до моего уха долетали диковинные фразы: «американская резина еще возьмет нас за горло», «эшелон с сухарями преступно забыт в пакгаузах», «мерзавцы из Земгора Юго-Западного фронта режут меня без ножа», «шесть вагонов мыльной стружки застряли на узловой» и так далее.

Моя бабушка, безвыездно и тихо доживающая свой век в доме на Остоженке, как-то на Пасху сказала:

– С этой войною наш Димуленька совсем голову потерял: за семерыми зайцами гонится.

И отец в то время действительно напоминал мне человека, мучительно и безнадежно гонящегося за чем-то вертким и ускользящим. Причем сам он от этой гонки не становился живее, наоборот, как-то окостеневал, а его малоподвижное лицо хмурилось все сильнее. Похоже, он вообще перестал спать. Глаза его лихорадочно блестели и бегали, даже когда он пил с нами чай.

Минул еще год.

И война вообще полезла во все щели. Она выползла на улицы. В городах маршировали колонны солдат, на вокзалах в поезда грузили пушки и лошадей. Мы с мамой перестали бывать в Басанцах – там было «неспокойно». Вся наша семья поселилась в Петербурге. Родственников оставили в имениях. Столица военного времени открыла мне три новых слова: безработица, стачка и бойкот. Для меня они воплощались в темных толпах людей на улицах Петербурга, которые мрачно брели куда-то и мимо которых мы старались побыстрее проехать на лихаче или на автомобиле.

Петербург стали называть Петроградом.

В газетах про немцев писали злые стихи и рисовали карикатуры. Ваня с Ильей любили зачитывать их вслух. Все немцы для меня делились тогда на два типа: один – пузатый, с мясисто-хохочущей мордой, в рогатой каске, с саблей в руке; другой – худой, как палка, в фуражке, с моноклем, стеклом и с кисло-презрительным выражением узкого лица.

Старшая сестра Ариша принесла из гимназии патриотическую песню. Оказывается, на уроке пения они всем классом сочинили музыку к стихам некоего провинциального учителя:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С германской силой темною,
С тевтонскую ордой!

Настя с Аришей аккомпанировали в четыре руки, а я с удовольствием пел, стоя на стуле.

Переехав в большой город, я заметил, что в нем все происходит быстрее, чем в Басанцах или Васкелово: люди двигались и говорили быстрее, извозчики мчались и кричали, автомобили гудели и тархтели, гимназисты спешили в гимназии, газетчики орали про «наши потери», отец входил в квартиру, сбрасывая шубу, торопливо ел, запирался в кабинете со своим помощником, потом уносился на автомобиле с комиссионерами и исчезал на неделю.

Мама тоже двигалась гораздо быстрее, куда-то ездила и что-то покупала. Мы часто и быстро ходили в гости. У меня появилось много новых друзей – мальчиков и девочек.

Меня усиленно готовили в гимназию: я занимался с Диденко русским языком и арифметикой, а с Madam Panaget – французским и немецким. И занятия шли гораздо быстрее, чем прежде.

Даже оба наших мопса, Кайзер и Шустрик, теперь быстрее бегали, громче лаяли и чаще какали на ковер.

Рождество 1917 года мы праздновали в большом доме новых папиных друзей. Отец к тому времени вдруг резко прекратил все поездки и целиком отдался новому грозному слову, которое, как могучая метла, вымела из нашего дома «эшелоны колотого рафинада» и «вагоны с мыльной стружкой». Слово это было «Дума». Оно, словно толстый Пацюк из рождественской сказки Гоголя, вошло в нашу гостиную и надолго расселось там. Вместе с ним стали приходить и допоздна рассиживаться новые папины друзья. Почти все они внешне были одинаковые и сильно отличались от высокого и сухопарого папы: малорослые, подвижные, крепкотелые, с широкими бритыми затылками, подстриженными бородами и подвитыми усами, они много курили и непрерывно спорили. Потом, наспорившись и накурившись до хрипоты, они что-то писали, одновременно диктуя сами себе, затем пили с папой вино и ехали ужинать к Эрнесту или к новому Донону. Отец теперь был занят только политикой, ходил на заседания могучей и неведомой мне Думы и в разговорах с матушкой часто говорил о каком-то нарыве, который «вот-вот прорвется» и что «надо не упустить момент».

После начала войны самым близким папиным другом в Петрограде стал банкир Рябов. Он тоже был в Думе.

У него была одиннадцатилетняя дочь Ника, в которую я впервые в жизни влюбился. На том рождественском утреннике мы, дети, разыграли вертеп. Старший сын Рябовых Рюрик был Иродом, Настя – ангелом благой вести, Ваня, Илья и Ариша – волхвами, Василиса – Богородицей, какой-то гимназист-переросток – Иосифом. Малоознакомые дети играли ангелов, чертей и избиваемых младенцев. Мы же с Никой исполняли по две роли: сперва солдат Ирода, ищущих младенца, а потом – ослика и вола, согревающих в яслях младенца Христа своим дыханием. Христом-младенцем был младший сын Рябовых, пятилетний Ванюша. Когда во втором действии он благополучно родился и мы с Никой, нацепив коровью и ослиную морды из папье-маше, с готовностью сунулись согревать его дыханием, Ванюша разрыдался. Мы переглянулись сквозь свои картонные глаза и тихо прыснули. Черный, весело блестящий глаз Ники в обрамлении огромных ослиных ресниц, ее тихий смех и запах каких-то приторных духов вызвали у меня неожиданный прилив нежности. Я взял ее влажную руку и не отпускал до конца лицедейства.

За обедом я сел рядом с ней, оттеснив какую-то девочку. Чувство мое к Нике нарастало с каждым подаваемым блюдом. Я болтал с ней, неся чепуху. На блинах с икрой я нервно-весело ущипнул ее за локоть, на чаем с бисквитами взял ее палец и ткнул в свою розеточку с абрикосовым вареньем.

Ника смеялась.

И в этом смехе было понимание меня. Видимо, я ей тоже понравился. После обеда был устроен детский маскарад с танцами вокруг елки. А когда мужчины отправились наверх курить и играть в карты, а дамы – обмениваться новостями на веранде в зимнем саду, детям было предложено сыграть в шарады. Две милые гувернантки-англичанки помогали нам.

– Чтоу телать этому фанту? – старательно выговаривала русские слова рыжеволосая и ужасно веснушчатая гувернантка, вынимая из оклеенной звездами коробки бумажки с нашими именами.

– Лаять на Нику! – кричал я громче других.

На нее лаяли, прыскали водой, ее возили на себе вокруг елки...

Ника смеялась мне черными глазами. Мне ужасно захотелось сделать с ней что-то такое, чтобы все вокруг исчезло. Но сцена, подсмотренная мною в шалаше, к этому не имела никакого отношения. Как более старшая, Ника поняла меня. Она вдруг пожелала сменить маску волка на маску Бабы-яги.

– Саша, пойдём, ты поможешь мне. – Она побежала по лестнице наверх, в свою комнату.

Там, не обращая на меня внимания, но пылая лицом от волнения, она кинулась на колени перед звездно-фиолетовым мешком с масками и стала в нем яростно рыться:

– Где же она... Oh... mon Dieu! Вот же!

Я опустился на колени рядом с ней, сильно обнял за шею, притянул и поцеловал в щеку.

– Саша, ты такой смешной... – пробормотала она, глядя на носатую маску.

Я снова поцеловал ее. Сердце мое трепетало. Она повернулась ко мне, закрыла глаза и прижалась своим лицом к моему. Мы замерли. И я впервые почувствовал, что время может стоять на месте.

– Это кто здесь прячется? – раздался притворный голос и громкий шелест платьев.

И ненавистное время пошло. А вместе с ним в комнату – хозяйка дома и какая-то дама с зеленым веером. Я не успел разжать объятия.

– Они амурничают! – восторженно ахнула дама и навела на нас лорнетку. – Нина Павловна, ты только посмотри! Какая прелесть!

Но некрасивая и неразговорчивая мать Ники была явно недовольна. Она внимательно посмотрела на нас – раскрасневшихся и прижавшихся друг к другу.

– Надевайте маски. И ступайте вниз, – произнесла она.

И мы, нацепив маски тигра и Бабы-яги, побежали вниз.

Нина Павловна ничего не сказала моим родителям. Но сделала все, чтобы мы с Никой больше не виделись. Мои просьбы «непреренно поехать к Нике» кончались ничем: Ника то «неважно себя чувствовала», то «гостила у родственников», то (несмотря на рождественские каникулы!!) «усиленно занималась арифметикой».

Полтора месяца неосуществленного желания видеть мою чернооую любовь свалили меня в горячку. Трое суток с высокой температурой я лежал и бредил, проваливаясь в грозные цветные сны и выныривая из них в прохладные руки матери, кладущие мне на лоб влажное полотенце, пропитанное водой и уксусом, и подносящие чашку с клюквенным морсом. В тех снах я ни разу не увидел моей Горы. Мне мерещилось человеческое море, безбрежный океан голосов, лиц, платьев и фраков, кативший на меня мощные волны. Я тонул в них, барахтался, силясь выплыть, но меня снова и снова накрывало с головой. Я знал, что где-то рядом здесь же барахтается Ника. Но чем сильнее я искал ее в водоворотах шуршащих платьями взрослых, тем яростней меня мотало и отбрасывало в бесконечные анфилады комнат, в прокуренные гостиные, в душные спальни. Голова моя лопалась от голосов. Наконец я прорывался к ней и видел мою любовь в ее белом платьице с маской Бабы-яги на лице. Я подбегал к ней, хватался за бесконечно длинный, бугристый нос маски, срывал. Но под картонной маской оказывалась Ника с живой ослиной головой. Она жевала что-то и в упор смотрела на меня ослиными глазами. И я пробуждался с криком.

Очнулся я на четвертые сутки.

Ни мамы, ни няньки не было рядом. Я поднял голову: шторы глухо сдвинуты, но в щели виден дневной свет. Я встал с кровати. Кружилась голова от слабости. Пошатываясь, в ночной рубашке до пят, я подошел к двери, открыл и зажмурился: наша огромная квартира была залита солнечным светом. Он проистекал из гостиной. Я направился туда, шлепая босыми ступнями по прохладному паркету. В гостиной, спинами ко мне, стояла наша семья. Окна были распахнуты, из них ослепительно било весеннее солнце. И все стоящие смотрели в окна. Я подошел к маме. Она схватила меня, поцеловала, как-то истерично обняла и под-

няла на руки. В окне была видна наша Миллионная улица. По обыкновению тихая и почти пустая, она вся была затоплена людьми. Толпа колыхалась, шумела и ползла куда-то. В толпе мелькали красные лоскуты.

– Что это, мама? – спросил я.

– Это революция, сынок, – ответила мать.

Потом в семье шутили: Саша проспал русскую революцию.

Революция

О ней говорили давно. Для меня же она случилась не в тот солнечный февральский день, а раньше, зимним вечером. Мы с Madam Panaget раскрашивали контурные картинки, потом я немного побренчал на рояле и выпил молока с любимым печеньем «Сiu». После чего нужно было прочитать маме молитву на сон грядущий и пойти спать. Но тут возник отец и, не раздеваясь, подошел к маме.

– Все, Думы больше нет, – угрюмо сказал он.

Мама молча встала.

– Милюков и Родзянко своего добились, – отец сбросил шубу на руки горничной и устало опустил в кресло, – угробили Думу. Мерзавцы. Угробили-таки. Похоронили.

Он стукнул кулаком по подлокотнику.

Я похолодел: Дума, этот невидимый и могучий Пацюк, два года проживший с нами, убита и закопана.

– Что же будет, Дима? – спросила мама.

– Революция! – мрачно, но с какой-то злой гордостью тряхнул головой отец.

И я, восьмилетний, вдруг представил ее, эту таинственно-грозную Революцию в образе Снежной королевы, держащей в руках почему-то все тот же «съедаемый тараканами» серп.

Если до революции в Петрограде все двигалось и жило быстрее обычного, то теперь все просто замелькало. И людей сразу прибавилось. Улицы были почти всегда полны. По ним стало трудно проехать не только на автомобиле, но и на извозчике. Я узнал новые слова: «совдеп», «революционные массы», «временное правительство» и «хвост». Неведомый «совдеп», со слов отца, засел в Таврическом и первым делом выпил все вино и украл серебряные ложки из ресторана. Революционные массы часто проплывали под нашими окнами, о временном правительстве непрерывно говорили все, даже кухарки, а хвосты за хлебом росли и росли. Я не мог понять: почему люди стоят за хлебом в очереди? Объяснение взрослых, что хлеба не хватает на всех, меня не удовлетворяло: ведь пшеницы всегда так много, хлебные поля на Украине такие бескрайние! Я был уверен, что хлеб бесконечен, как и вода, как и небо. У нас за обедом хлеб всегда оставался.

И мне странно было слышать на улицах: «Подайте на хлеб!»

Лето 1917 года мы провели в Васкелово. Оно было каким-то удивительно красивым, спокойным и долгим. Никогда прежде летом мне не было так хорошо и вольготно. Я словно прощался с прежней, благополучной и беззаботной жизнью. И эта жизнь, уходя навсегда, прощалась со мной огромными темными елями, неподвижным озером, лесными ягодами, послеобеденным сном на веранде, невинным смехом сестер, стеклянными звуками рояля, радугой после дождя.

В конце лета я пошел в гимназию. Вернее – меня отвез туда шофер со смешной фамилией Кудлач на синем автомобиле. И возил каждый день. В той гимназии на Крюковом канале в основном учились дети богатых. Многих подвозили на автомобилях. Но не до самой гимназии – это считалось *неуместным*. Машины тормозили неподалеку от гимназии, мы выходили и шли пешком. Так было принято.

Мне было интересно на уроках. В гимназии преподавали люди, не похожие на невзрачного Диденко и тихую Madam Panaget. Они умели хорошо и долго говорить. Особенно мне нравились неизменно веселый математик Терентий Валентинович, маленький, но невероятно активный физкультурник мсье Жакоб, прозванный Карманным Бонапартом, и громкая, всегда сильно пахнущая розовым маслом француженка Екатерина Самуиловна Бабицкая. Директор гимназии Казимир Ефимович Кребс, мужчина огромного роста, с громадной голо-

вой, густой бородой, трехпалой левой рукой и глухим рокочущим басом, прозванный гимназистами Навуходоносором, вызывал у меня чувство восторженного страха.

Но не прошло и трех месяцев моей гимназической жизни, как грянула еще одна революция. Отец назвал ее «большевистская смута». И пообещал, что «долго эта сволочь не продержится».

В этом он сильно ошибся.

Во вторую революцию все было по-другому: по улицам бегали, скакали на лошадях и проезжали на грузовиках только солдаты в шинелях и матросы. И все они были с винтовками. Горожане перемещались осторожно, стараясь держаться поближе к домам. Ночью были слышны выстрелы.

Затем время как-то *сжалось*. И полетело так быстро, что все вообще перепуталось и замелькало: люди, события, времена года.

Несмотря на «большевистскую смуту», занятия в гимназии шли до весны 1918 года. И прекратились по весьма простой причине: большая часть учеников побежала вместе со своими богатыми родителями из Петербурга. И из России.

Семья наша созрела для бегства к июлю. В ней произошли изменения: Илья, увлекшийся марксизмом еще в гимназии, сделался красным и ушел к большевикам. С отцом он порвал. Маме же передал с кем-то пару писем, в которых писал, что воюет за свободную Россию. Затем Илья исчез навсегда. Василиса стремительно вышла замуж за молчаливого и горбоносого поручика, демобилизовавшегося по ранению (в левое колено), и так же стремительно уехала с ним в Крым к его матери.

Отец, потерявший в России все, сперва намеревался вывезти нас в Варшаву. Там у него «было что-то небольшое», я так и не понял что – дом или дело. Затем он собирался отправиться дальше – в Цюрих, где «что-то лежало». В Швейцарию с семьей перебрался и банкир Рябов, еще до обеих революций приобретший там дом. Летом 1918 года путь в Европу лежал через Киев. Человек с маленькими усами по фамилии Дымбинский взялся переправить в Варшаву сначала маму с сестрами, потом отца со мною и Ваней. Отцу понадобилось еще пару недель, чтобы «утрясти делишки в Питере». Эти две недели стали для семьи роковыми. Едва мама с Настей и Аришей уехали, заболел брюшным тифом брат Ваня. Месяц он пролежал, но, к счастью, поправился, хотя сильно исхудал и пожелтел. Потом отца забрали в ЧК. Три месяца от него не было вестей. Набожная тетя Флора, мамина сестра, взявшая нас с Иваном к себе на Мойку, каждый день молилась за нашего арестованного отца. И чудо свершилось – его выпустили. Из ЧК он вернулся сильно поседевшим и ссутулившимся. Но сказал, что в тюрьме за три месяца его никто ни разу не ударил по лицу.

Так что в Киеве мы оказались только зимой. Поселились в Липках, богатом и ухоженном районе, в большой квартире папиного брата. Дядя Юрий, абсолютный антипод отца, увлекающийся, взбалмошный и громкоголосый, никуда не собиравшийся уезжать из родного Киева, принял нас так, словно никакой революции и войны не было вовсе. Стол у него дома ломился от жирной украинской еды, чисто одетая прислуга подавала шампанское, а дядя, слегка поседевший и похудевший, что-то бурно рассказывал и пил за здоровье неведомого мне Гетмана. После сурового Петербурга с его хлебными хвостами изобильный стол дяди казался невероятным. Но самым невероятным оказалось то, что мама и сестры, погостив у дяди Юрия, в начале ноября отправились в Варшаву. Но доехали ли они туда – никто не знал. Зато все знали, что в Варшаве тоже революция и Пилсудский объявил независимость. Отец был взбешен: он кричал на дядю, называя его «мокрым пентюхом», и топал ногами. Дядя Юрий успокаивал его как мог. Он давал обе руки на отсечение, что мама и сестры живы и в безопасности. Дядя Юрий был любимцем нас, детей. Своих у него не было, он жил неисправимым холостяком. Нас он обожал до слез. Мы же по-детски любили его как сверстника-переростка. Еще давно Ваня с Ильей придумали ему сложное прозвище. Оно

выскакивало у дяди изо рта каждый раз, когда он оказывался у нас в Петербурге. Любитель рестораций и кафе-шантанов, дядя в первый же вечер неизменно требовал отца отправиться с ним «куда-нибудь». Отец же, знавший *чем* кончаются эти походы «куда-нибудь», неизменно цедил, что «теперь и пойти-то некуда». На что дядя, откинув назад красивую голову, укоризненно разводил длинными, как и у отца, руками и начинал загибать пальцы:

– Помилуй, Дима! У вас тут Эрнест, Кюба и два Донона!

Это были названия четырех самых роскошных ресторанов. После чего отец и дядя исчезали до утра. Так дядя Юрий для нас стал Эрнесткюбаидвадонон. Когда его коляска въезжала в ворота северного имения, мы с Настенькой неслись по комнатам с криком:

– Эрнесткюбаидвадонон приехал!

Угощая нас, дядя уверял, что мы на днях отправимся в Варшаву. Дымбинский шнырял по городу, добывая какие-то «чертовски важные бумаги». Это тянулось несколько недель: дядя ждал помощи от его друзей немцев. Но немцы вдруг покинули Киев, даже не уведомив дядю. И как-то очень быстро к Киеву подошел Петлюра со своей «дикой первобытной ордой». О нем заговорили с ужасом. Петлюра входил в город, чтобы «перевешать офицеров, жидов и москалей». Он был украинец. И как поговаривали, в живых оставлял только украинцев. Его я представлял колдуном из «Страшной мести» Гоголя, самой жуткой сказки на свете. Как только немцы убежали, исчез Дымбинский. А веселый и самоуверенный дядя впал в панику. Он тряс отца за плечи и кричал, что «надобно бежать из Липок что есть мочи». Он был уверен, что петлюровцы придут грабить именно сюда, в самый богатый район. Отец стал ответно кричать, что он умеет стрелять. Но вскоре махнул на дядю длинной рукой и стал паковать вещи. Поутру мы выехали из Липок на двух колясках. В первой сидели мы с отцом, во второй – Эрнесткюбаидвадонон с грудой вещей и своим старым слугой Савелием. Было слегка морозно. И несмотря на декабрь, снега выпало совсем мало. Но после бессонной ночи сборов и криков меня сильно знобило и *ужасно* хотелось спать. Я дремал в коляске, привалившись к отцу и сжимая в руках жестяную коробку из-под печенья «Сіу». В ней хранилось все мое богатство, россыпь любимых вещей – от набора карандашей и швейцарского перочинного ножичка до оловянного пугача с коробкой пистонов. Дважды мы останавливались, и я просыпался: первый раз к дяде подседа маленькая, полненькая и сильно взволнованная дама с двумя саквояжами, второй раз на какой-то ужасно горбатой улице к нам в коляску втиснулся Дымбинский с забинтованной рукой, с портфелем, в сером летнем пальто и мохнатой бараньей шапке. Он отдал отцу портфель и что-то сипло и обстоятельно забормотал про какую-то Пуще-Водицу и какие-то казармы. Его глаза были красные, а мохнатая шапка дохнула на меня глубоким сном. Я снова задремал. И открыл глаза от звука близкого грома. Обе подводы стояли на улице с одноэтажными домиками, окруженными слегка заснеженными садами. Толстая рыжеволосая баба в ночной сорочке с полураспущенной косой торопливо закрывала ставни. Снова громыхнуло, поближе.

– Шесть дюймов. Не меньше, – сказал Дымбинский и стукнул извозчика по спине. – Сворачивай!

В его руке вдруг появился большой черный маузер. Извозчик, чертыхаясь, свернул в проулок. Вдали по проулку убежали трое в шинелях. Где-то за домами затрещали выстрелы. И ударил пулемет. Дама во второй коляске вскрикнула и стала часто, как-то *по-мышинному* креститься. Дымбинский выругался по-польски. Отец прикрикнул на извозчика. Меня сильно зазнобило, я зевнул со стоном, во весь рот. И вдруг грохнуло совсем рядом. И зазвенели стекла в домах. И лошадь всхрапнула и дернула. И моя жестяная коробка с *дорогим* выскользнула из рук. И покатила по дорожной наледи.

Обе коляски встали. Отец, дядя и Дымбинский закричали на извозчиков. Те, не понимая, куда ехать, натягивали поводья. Лошади храпели и пятились. А я смотрел, как катится моя жестянка. Лимонно-желтым колесиком она катилась, катилась и катилась, вниз, вниз,

вниз – по горбтому переулку. Катилась, катилась, катилась до слез, до рези в глазах. И в ней, как в жестяном барабане, кувыркнулся оловянный пугач. И вдруг как по команде и совершенно неожиданно для себя я выпрыгнул из колышущейся коляски и кинулся за жестяной.

– Александр, назад! Сейчас же вер... – закричал отец.

И его голос *навсегда* потонул в ужасном грохоте. Этот грохот проглотил все голоса в колясках. Грохотом меня толкнуло в спину так, словно я ковер. И грохот, как великан, выбил из меня пыль одним ударом. И я *провалился*.

Потом я открыл глаза. И увидел совсем близко лед, испачканный конским навозом. Лед был прямо возле моего носа. Я хотел приподняться, но не мог. Непонятно, что мешало мне. И я *ничего* не слышал. Я оперся руками о лед. И с огромным трудом приподнял голову. Впереди был пустой проулок. И посреди обледенелой дороги лежала моя желтая жестянка. Я сразу понял, что *главное* — сзади. И стал поворачивать одеревеневшую шею. Она *очень* плохо поворачивалась. Но все же повернулась.

И я увидел: дым, перевернутые коляски, лежащих людей, бьющуюся на боку лошадь с вылезшими кишками. И черную землю на льду. И еще что-то черное, что лежало совсем рядом со мной. Я скосил на это глаза. Это была нога в черном ботинке. И с полосатым серо-сине-белым шерстяным носком. С модным американским носком. Носком Эрнесткюбаидвадонона. Из носка торчала розовая нога. И из ноги торчало. Что-то.

У меня теплое протекло по губам. Я потрогал их. И посмотрел на руку. Рука была в крови. Я понял, что надо вставать и идти к папе. Потому что он звал меня. С трудом я подтянул под себя ноги и встал на колени. И тут же вокруг меня запустили карусель. И все – дым, дом, баба в окне, земля, нога, лошадь с кишками, дым, дом, баба в окне, – поехало, поехало, поехало. Слева-направо. Слева-направо. Слева-направо.

И я упал на лед.

Дорога

12 декабря 1918 года в Киеве кончилось мое детство. Его выбил из меня разорвавшийся шестидюймовый снаряд, унесший жизни отца, брата Вани, дяди Юрия. Так же погиб один из извозчиков. Слугу Савелия и другого извозчика ранило, но они выжили. Дымбинский исчез. Любовница дяди, вдова штабс-капитана царской армии Лидия Васильевна Белкина, так же, как и я, была сильно контужена. Нас с ней подобрала и оттащила к себе в дом та самая толстая рыжая баба, что закрывала ставни. Три месяца я ничего не слышал. И не мог ходить: голова кружилась, и я сразу садился на пол и закрывал глаза. Удобнее всего мне было сидеть на полу и смотреть в него. За эти три месяца я досконально изучил три пола: глинобитный, устеленный домоткаными пестрыми ковриками, паркетный, покрытый огромным персидским ковром, и вагонный, заплеванной, усыпанный окурками. Вагонный пол качался.

Белкина сказала мне, что моих родных похоронили на Байковском кладбище. Она же помогла отправить меня с ее кузиной в Москву. Но туда я не доехал. Поезд остановили вооруженные люди на лошадях. И он пошел совсем в другом направлении. Я оказался сначала в Полтаве, потом в Харькове. Потом в Курске. Потом в Рыльске. Потом были: станция Красное, Моршанск, деревня Голубино, Серпухов, село Пехтерево, Подольск.

До Москвы я добрался только 2 августа 1922 года. За это время я вырос. Взрыв выбил из меня не только детство. Но и что-то еще. Он словно отрезал от меня прошлое. А вместе с прошлым – любовь к нему. За четыре года скитаний я ни разу не плакал о моем погибшем отце. Мать я вспоминал часто, думал о ней. Но у меня и в мыслях не было стремиться к ней, искать ее. Она стала *недостижимой* не только в окружающем мире. Но и во мне самом. Лишь горбатая Настенька, моя любимая сестра, дотягивалась из отрезанного взрывом прошлого, являлась по ночам, подолгу застревая в мучительных снах о родном и потерянном. И я просыпался в слезах.

Все четыре года я куда-то постоянно ехал, ехал и ехал. Одна большая и бесконечная дорога стелилась под ноги и тянула, вырывая из очередного уюта, обещая и угрожая, пугая и успокаивая. Я не понимал, *куда я еду и зачем*. Но меня везли. Ни разу я не был один, ни разу не страдал от голода, ни разу не ночевал под забором или в стогу сена. Меня ни разу не ограбили, не ударили кулаком в лицо, не пырнули ножом. Обо мне заботились. Меня передавали с рук на руки, словно дорогую вещь, навсегда потерянную хозяином. Которую *почему-то* непременно нужно сохранить. Во всем этом было какое-то чудо. Мамины приживалы, безнадежно дальние родственники, шапочные и деловые знакомые отца, сослуживцы покойного Василия, учителя сестер и, наконец, просто посторонние люди удивительнейшим образом оказывались в нужном месте в нужное время, чтобы помочь «сыну Снегирева». Одни ссаживали меня с переполненного поезда, другие случайно встречали на перроне, третьи окликались на улице, четвертые устраивали на ночлег. Совпадения стали нормой. И я перестал им удивляться. Я просто ехал. Но не знал, куда я еду и зачем. Оказываясь в очередном городе, городишке или поселке, я сразу понимал, что не останусь здесь навсегда. Хотя чувство родного дома взрыв также выбил из меня. У меня не было больше дома. Мне некуда было стремиться. И Васкелово и Басанцы остались только в памяти. И я понимал это.

Пожив месяц или два на новом месте, у новых людей, я чувствовал, что пора ехать дальше. И произносил:

– Мне пора.

Удивительно, но слова мои действовали на очередных хозяев. Не спрашивая, *куда я направляюсь*, они тут же озадачивались, приходили в движение, что-то предпринимали, кому-то посылали записки, с кем-то договаривались, и через сутки-другие я уже катил в поезде или тащился с обозом туда, где меня ждали.

Дорога вела меня.
Четыре года я добирался до Москвы.
За это время многое произошло. Большевики окончательно победили. Война окончилась.
Россия стала красной.

Петроград

Оказавшись в Москве, я отправился на Остоженку, в уютный деревянный дом бабушки. Но бабушки там уже не было. В доме проживали девять семей рабочих. Женщина, стирающая белье во дворе, сказала мне, что «старушка умерла, как только дом уплотнили». Случилось это год назад.

В Москве я никого не знал.

В Петрограде осталась тетя Флора. На товарном поезде я добрался до Питера и нашел квартиру тети на Мойке. Тетя Флора была жива. Хотя и резко постарела. Она не сразу узнала меня. И сильно испугалась, когда я вошел. Ей показалось, что перед ней мой покойный брат Василий. Потом она плакала и пыталась целовать меня в макушку, как в детстве. Но я вырос. И у нее не очень получалось. Я рассказал ей все. Она крестилась и плакала. И снова пыталась целовать меня в макушку. Я наклонялся.

Тетушка рассказала мне, что двоих наших родственников расстреляли, один уехал в Париж, а ее родная сестра пропала без вести во время Гражданской войны. Имение в Васкелово стало школой-интернатом для беспризорных детей. Про имение в Басанцах она слышала, что его сожгли. Я тоже слышал это в Харькове. Нашу квартиру на Миллионной занял райжилотдел.

Четырехкомнатную квартиру тетушки тоже уплотнили, подселив четыре семьи. Одинокая тетя как вдова буржуа занимала бывшую кладовую. В этой полутемной комнатке стояли железная кровать, комод красного дерева, швейная машина «Зингер» да несколько икон. Тетушка вытащила из-под кровати сложенный персидский ковер, лежавший раньше в гостиной, водрузила на него одну из своих больших, расшитых подушек и произнесла:

– В тесноте, Сашуленька, да не в обиде. Обживайся!

На этом сложенном ковре, у двери я и обосновался.

Тетушка Флора люто ненавидела большевиков, считая их слугами Антихриста. Жизнь ее была тесно связана с церковью. Бездетная, рано овдовевшая, тетушка проводила в ней большую часть своего времени. Но постричься в монахини, как сделали многие ее набожные подружки после победы большевиков, она не хотела. На пропитание она зарабатывала пошивом одежды да изредка продавала то немногое, что осталось от прежней благополучной жизни. Главные фамильные драгоценности у нее конфисковали при обыске.

Первым делом тетушка сшила мне рубашку и брюки. Во время работы она прочла мне наставление на будущее: я должен окончить гимназию, поступить в университет и получить высшее образование.

– Пока молод – заполняй голову! – повторяла она, качая маленькой, но сильной ногой педаль швейной машины.

Придя в свою гимназию на Крюковом канале, я обнаружил, что она переименована в школу имени Герцена. Из прежних учителей в ней осталась только немка Виолетта Николаевна Кнорре. А из моего класса продолжали учебу лишь двое – толстый увалень Штюрмер да насмешливый и вертлявый коротышка Яновский. Директором стал Борис Иванович Дьяков, типичный русский интеллигент, навсегда полюбивший революцию. Пройдя с ним собеседование, я был зачислен в пятый класс. Восьмого сентября начались занятия, и директор, преподававший историю, рассказал нам, торжественно поблескивая пенсне, как он дважды разговаривал с Лениным.

В этой школе я проучился три года. Поначалу мне нравилось узнавать новое, и я быстро наверстывал упущенное. Школа была прогрессивной: мы не писали классных и домашних работ. Учителя, приглашенные Дьяковым, были настоящими энтузиастами своего дела, они жили только школой, возили нас на экскурсии, играли с нами в лапту и в хэндбол, устраивали

диспуты, а зимой, когда школу не отапливали, делились одеждой. Почти все они поддерживали большевиков. Только хмурый и задумчивый учитель рисования был убежденным анархистом и частенько повторял, что Ленин и Троцкий реставрируют государственную машину подавления личности.

В школе имени Герцена я выбрал себе профессию. Вернее – она выбрала меня. Дело в том, что после того рокового взрыва во мне открылась одна способность. Лежа контуженным в кровати и ничего не слыша, я развлекал себя тем, что считал окружающие предметы. Сначала я просто пересчитал их. Затем стал считать их углы. И вдруг обнаружил, что это очень легко. Обсчитывая японскую этажерку покойного Эрнесткюбаидвадонона, наполовину заслоненную шторой, я легко представил ее всю в пространстве и сосчитал число углов: 46. Потом я обсчитал дядин письменный стол: 28. Потом выглядывающую из гостиной люстру с восьмигранными хрустальными подвесками: 226. Так постепенно я обсчитал все углы в дядиной квартире. Их оказалось 822. На этом я успокоился. И, поправившись, совершенно забыл свое необычное занятие.

Но когда нам стали преподавать геометрию, я вспомнил его. С геометрией у меня все было хорошо. Даже не хорошо, а, по словам учителя Георгия Владимировича, «просто исключительно». Я легко решал все задачи, с ходу строил сечения, видел и понимал то, что с трудом давалось другим. К тому же я очень быстро считал. Математика после взрыва стала для меня понятной стихией. Но не могу сказать, что и геометрия, и математика волновали и притягивали меня. Впрочем, другие предметы тоже: я был равнодушен к истории, зоологии, литературе. Рисование и пение мне казалось бессмысленным занятием. Русский язык я постигал с трудом. А французский – просто знал с детства. Меня *смутно* волновала только астрономия. Даже не астрономия, а сами небесные тела, висящие в пространстве. Представляя Вселенную, я словно *терял себя*. И сердце мое начинало тяжело биться. Но астрономию нам не преподавали. А математика с геометрией мне просто легко давались. Это и определило цель.

– Снегирев, только в точные науки! О другом не помышляйте! – категорически тряс козлиной бородой Георгий Владимирович.

Я стал готовиться к поступлению в университет. Директор помог мне пройти экстерном четыре класса, и в семнадцать лет я получил диплом о среднем образовании. И поступил довольно легко на физико-математический факультет. Но уже на первом курсе, сидя на лекции по высшей математике, я понял, что мир чисел, теорем и уравнений совершенно не интересует меня. Впрочем, как и физика. Начертательная геометрия была мне понятна еще в десятом классе, в ней, как и в математике, не было никаких притягательных тайн. Я откровенно скучал на занятиях, погружаясь в свои мысли. Но мысли эти не были продуктивными. На меня нападало некое *внутреннее оцепенение*, и я погружался в него, как в теплую приятную ванну. Надо сказать, что взрыв не только отделил от меня прошлое. Он как бы *остановил* меня. До него я был живым, общительным, смешливым и непоседливым мальчиком. Я обожал болтать со всеми. И обожал движение. Усидеть минуту спокойно мне было трудно. И при этом я совершенно не задумывался. После взрыва все изменилось: я стал молчаливым, замкнутым, малоподвижным, задумчивым и необщительным. В школе у меня практически не было друзей. Девочки, севшие с нами за парты после отмены отдельного обучения, также не волновали меня. Рядом со мною сидела чернокудрая и черноглазая Рита Резникова, любившая подтрунить над моей замкнутостью и неразговорчивостью.

– Скучный ты, Снегирев, как манная каша, – говорила она.

Я лишь криво ухмылялся в ответ. Шутить и дурачиться на переменах мне было скучно. Я бродил по школьному двору, обходя шумящих и резвящихся однокашников.

В университете общительнее я не стал. Университетская жизнь меня не интересовала. Аудитории бурлили дискуссиями, лекции перерастали в диспуты. Шла борьба между «крас-

ной» профессурой и старыми, «буржуазными» профессорами. Комитет комсомола играл в этой борьбе не последнюю роль. Комсомольцы могли прервать лекцию профессора обвинением в «скрытой контрреволюции» или «богоискательском мракобесии». В университет приглашались известные большевики для открытых диспутов. Луначарский спорил с митрополитом Введенским о существовании Бога, Зиновьев выступил с лекцией о роли комсомола в строительстве нового общества, Крупская провела диспут по женскому вопросу.

Я был далек от всего этого. После занятий я уходил бродить по городу. Домой меня не очень тянуло: там стрекотала тетушкина швейная машина да ругались соседки на коммунальной кухне. Бродя по Питеру, я трогал камни. Мне нравилось класть руки на прохладный гранит. От камней шел покой, которого не было в людях. Я прикасался к рубленным цоколям домов, гладил гладкие колонны Исаакя, трогал гривы гранитных львов, полированные пальцы ног атлантов, груди мраморных нимф и крылья мраморных ангелов. Каменные изваяния успокаивали меня.

Придя домой, я съедал скудный обед, оставленный тетушкой, и погружался в чтение книг, взятых мною в университетской библиотеке. В основном это были книги по астрономии и истории Вселенной. Меня волновали планеты и бесконечность звездного мира, окружающего Землю. Иногда я брал книги по минералогии, но не читал, а подолгу разглядывал цветные изображения камней. Я мог это делать часами, лежа на своем ковре. Книг по математике и физике я не читал вообще, довольствуясь только тем, что слышал на лекциях. Художественная литература меня также не интересовала: мир людей, их страсти и устремления – все это казалось мелким, суетливым и недолговечным. На это нельзя было *опереться* как на камень. Мир Наташи Ростовской и Андрея Болконского по сути ничем не отличался от мира моих соседей, каждый вечер бранящихся на кухне из-за примусов или помойного ведра. Мир планет и камней был богаче и интересней. Он был вечен. Из астрономического атласа я вырвал лист с изображением Сатурна и повесил на стену. Когда тетушка садилась шить, голова ее оказывалась на одном уровне с Сатурном. Но разве можно было сравнить с Сатурном голову тети Флоры, бормочущую что-то про большевиков, про обновленцев и про цены на драп и крепдешин?

В университете астрономию читали только на третьем курсе. Я стал сбегать с занятий по физике и математике и посещать лекции профессора Карлова, известного астронома, специалиста по спектральному анализу планет. Слушая его глуховатый голос, рассказывающий про звездный параллакс, спутники Марса, солнечные пятна, орбиты комет и метеоритные потоки, я закрывал глаза и забывал про все. Я проваливался и *повисал* в звездном пространстве. И это чувство оказалось сильнее всех других. Это было *ужасно* приятно. Я переставал слышать и самого Карлова. И забывал про астрономию. Я просто *висел* среди планет и звезд. Так продолжалось из месяца в месяц. На другие лекции я ходил все реже. С трудом я сдал сессию и перешел на второй курс. Летом все студенты подрабатывали. Я тоже решил помочь тетушке деньгами. Сперва меня устроили на «Красный Путиловец» подсобным рабочим, но на второй день я почувствовал сильное раздражение и угнетение от работающих станков и механизмов. Люди же, обслуживающие эти громоздкие машины, раздражали меня еще больше: в них было что-то обреченно-угрожающее. В самом заводе я чувствовал *невыносимое* уродство. Я ушел с «Красного Путиловца» и устроился мыть посуду в ресторан при игорном доме на Владимирском проспекте. Заведение содержал типичный нэпман, словно сошедший с плакатов Маяковского – толстый и с неизменной сигарой. Моя посуду, я думал о планетах и звездах. Они всегда были со мной: я следил за орбитами, наслаждался *плавным* вращением небесных тел.

В сентябре я снова отправился на лекцию Карлова. Курс астрономии длился один учебный год. В сентябре Карлов каждый раз начинал читать свой курс очередному потоку третьекурсников. Я снова с удовольствием погрузился во вводную лекцию. Закрыв глаза. И *повис*,

представив громадную звезду Бетельгейзе. Аудитория № 8 стала моим вторым домом. На другие лекции я совсем перестал ходить.

И однажды, когда я *висел*, меня тронули за плечо.

– С тобой все в порядке? – спросил женский голос.

Я открыл глаза. Аудитория была уже пуста. Рядом со мной сидела девушка. Она была черненькая, с короткой стрижкой и слегка раскосыми глазами. Которые смотрели насмешливо.

– Ты что, по ночам работаешь? Не высыпaeшь?

– Нет... – Я с неудовольствием расстался с *моим* оцепенением.

– Каждый раз смотрю на тебя, как ты дремлешь на лекциях! – усмехнулась она.

– Я не дремлю, – ответил я, глядя ей в глаза.

Она перестала усмехаться:

– Ты... с какого потока?

– Я второкурсник, – ответил я.

– А почему ходишь к нам?

– Я очень люблю Вселенную, – откровенно признался я.

Она с интересом смотрела на меня. Мы познакомились. Ее звали Маша Дормидонтова. Она наблюдала за мной целый месяц. Студент, всегда сидящий на лекциях с закрытыми глазами и отрешенным лицом, заинтересовал ее. Выйдя из физико-математического корпуса, мы пошли по набережной. Маша задавала мне вопросы. Я сбивчиво отвечал. Она была бойкая, с быстрой реакцией и живым умом. Ее отец служил на флоте. Она же, учась на физика, была увлечена модной наукой – метеоритологией. Пройдясь с ней по городу и послушав ее быструю и эмоциональную речь, я сначала поверил, что ее единственная страсть – метеориты. Блестя раскосыми глазами, она воодушевленно рассказывала мне о метеоритном дожде, зодиакальном свете, железных метеоритах с видманштеттеновыми фигурами и каменных – хондритах и ахондритах. Но довольно быстро выяснилось, что за метеоритологией стоит определенный человек, «смелый, умный и решительный», который ищет теперь в Сибири самый большой метеорит. Говорила об этом человеке она с явным волнением. Его звали Леонид Кулик. Он был старшим научным сотрудником в Горном институте. Маша явно неровно к нему дышала. Я спросил о метеорите, который искал Кулик. Она сказала, что это громадный болид, упавший лет десять назад и наделавший много шума по всей Сибири. Переговариваясь, мы дошли до ее дома на Лиговке, возле Московского вокзала. Маша приветливо со мной простилась, сказав:

– До завтра!

И я побрел к себе домой на Мойку. Встреча с Машей ничего не изменила во мне. Я так же продолжал посещать лекции Карлова, проваливаться и *зависать*. Машу это интриговало. Она садилась всегда рядом со мной. Сначала она пыталась шепотом задавать мне смешные вопросы. Но я не отвечал. И она перестала. Зато после последнего слова Карлова она толкала меня в плечо, произнося:

– Finita!

И я открывал глаза.

Лекция Карлова всегда была последней. Если Маша не оставалась на факультете по комсомольским делам или не отправлялась к Кулику в Горный, я провожал ее домой. Мы шли пешком или ехали на трамвае. Я всегда провожал ее до дома. Она принимала это как должное. Ожидать от меня мужского внимания она перестала, решив, вероятно, что я «немного не в себе». Назначив меня на роль доверительного уха мужского пола, она изливала мне душу по дороге, рассказывая о сокровенном. Ей это нравилось. Но про Кулика говорила очень осторожно, всегда с волнением. Кулик на три месяца отправился в экспедицию за таинственным метеоритом. Маша «до ужаса» просилась с ним, но в экспедиции был железный закон:

женщин не брать. Экспедиция метеорита не нашла. Но точно определила место и время его падения. Когда Маша показала мне вырезку из газеты со статьей Кулика «Тунгусский метеорит», я сразу увидел дату падения: 30 июня 1908 года. И вдруг вспомнил про необычный *гром*, услышанный матушкой во время родов. Я закрыл глаза. И неожиданно рассмеялся.

– Что с тобой? – спросила Маша.

– Я родился в тот самый день. 30 июня 1908 года, – ответил я.

Она была потрясена таким совпадением. И пообещала рассказать об этом Кулику. А я забыл про Тунгусский метеорит (ведь он *уже* упал!) и снова погрузился в свой родной мир Вселенной.

Зимнюю сессию я сдал с двумя «хвостами». Но меня, чудесным образом, не отчислили, а обязали пересдать физику и логику в летнюю сессию. Я смутно следил за происходящим не только в университете, но и в стране. Студенты обсуждали ссылку Троцкого в Алма-Ату, борьбу в партийном руководстве, саботаж крестьянами хлебозаготовок, а я проходил мимо или сидел с отрешенным видом. Мне было *хорошо*. У меня была точка опоры – планеты и звезды. Они были всегда со мной. И я совершенно не задумывался о будущем. Я никуда не стремился. Куда стремиться, если все уже *есть*? Я прижимался лбом к мраморному льву. И плыл по орбите Ганимеда, между Ио и Каллисто.

Но вскоре реальность напомнила о себе.

В мае, придя из университета домой, я обнаружил там чекистов. Они производили обыск в нашей комнате. Тетушки не было. Оказывается, в храме, где она прислуживала, провели изъятие церковных ценностей, во время которого тетушка выхватила у чекиста тяжелый крестильный крест и ударила его по голове. Ее арестовали. Меня отвезли в ГПУ на Гороховую и допросили. Но отпустили. Я пытался выяснить судьбу тетушки, но лишь узнал, что она в Крестах и ожидает суда. Прошел месяц. Тетушку осудили на пять лет и отправили на Соловки. Больше я ее никогда не видел.

А через пару недель после суда меня отчислили из университета. Причин было предостаточно: непролетарское происхождение, антисоветчица-тетя, неуспеваемость. И я не был комсомольцем. Секретарь комсомола нашего факультета давно уже окрестил меня «чуждым элементом».

Отчисление я воспринял спокойно. Ведь посещать лекции Карлова я мог и без студенческого билета. А две книги по астрономии я успел украсть из библиотеки. Зато Маша была сильно огорчена. Дважды она ходила к декану и в комитет комсомола, прося за меня, но безрезультатно. Мы продолжали встречаться на лекциях и гулять по городу.

Вскоре я понял, что мне нечего есть: тетушкин запас перловой крупы и льняного масла иссяк. Тогда я продал ее швейную машину. Накупив крупы, сухарей, сала, подсолнечного масла, моркови и чеснока, я наелся и спрятал провизию в комод. Наутро я отправился в университет. Но там меня ожидало то, что я упустил из виду: курс лекций по астрономии завершился. Начинались экзамены. Разочарованный, я поплелся домой. Там тоже ждала новость: в комнате сидел домоуправ. Он сказал мне, что если я не прекращу антисоветскую пропаганду, жильцы похлопочут о моем выселении. Я выслушал его молча. Он вышел, хлопнув дверью. Я понял, что, воспользовавшись моим беспомощным положением, домоуправ просто хочет отнять у меня комнату. Я взял свои две книги по астрономии и вышел на улицу. Стоял теплый и солнечный июнь. Я бесцельно побрел по городу. И почувствовал, что этот город *выталкивает* меня. Мне не оставалось в нем места. И меня ничего уже не связывало с ним. Я дошел до Невского, свернул и побрел в сторону Исаакия. Мне захотелось положить руки на его колонны. И прижаться лицом к холодному гладкому камню. Я сделал несколько шагов и столкнулся с Машей. Мы столкнулись так сильно, что книги мои упали на мостовую. А ее портфель раскрылся, и из него полезли бумаги.

– Господи... – пробормотала Маша, отпрянув и прижимая ладонь ко лбу: она ударила меня лбом в подбородок.

Я ошалело смотрел на нее. Опомнившись, она расхохоталась. Я помог ей собрать бумаги и поднял свои книги.

– С ума сойти! – она качала головой, смеясь. – Знаешь, я полчаса тому говорила о тебе.

– С кем? – спросил я.

– С Куликом. Хочешь поехать в экспедицию? У них как раз двое заболели дизентерией. А послезавтра они уже отправляются.

Я молча смотрел на нее, потирая подбородок. И вдруг в одну секунду, как тогда, после взрыва, после головокружения, после Киева и сосчитанных углов, я почувствовал, что я *в дороге*. Я снова *в дороге*. Нужно было двигаться. Дальше.

И я ответил:

– Хочу.

Экспедиция

Назавтра в 9.00 мы с Машей вошли в здание Горного института. Недолго шли по полутемному коридору и остановились возле двери с новой медной табличкой «Метеоритный отдел». Табличка выглядела необычно. Маша постучала в дверь. Никто не отозвался. Она приложила к двери ухо:

– Господи, неужели он уже на заседании!

– Пока нет, но скоро непременно направится туда, – раздался за нашими спинами высокий и слегка надменный голос.

Мы обернулись. Перед нами стоял худощавый мужчина в очках и с густыми светлорусыми усами а la Ницше. Одет он был подчеркнуто небрежно.

– Леонид Андреич! – пролепетала Маша, и я понял, что она сильно влюблена в Кулика.

– Это ваш protégé? – Кулик глянул на меня своими умными, пристальными и слегка насмешливыми глазами. – Это он родился 30 июня 1908 года?

– Да... это тот самый Снегирев. Его отчислили из университета, но он... – забормотала Маша, но Кулик перебил ее:

– Это меня не интересует. Бывали прежде в экспедициях?

– Нет.

– Так... – Кулик сверлил меня взглядом. – Копать умеете?

– Ну... – замялся я.

– Таскать тяжести?

– В принципе... да.

– В принципе! В общем, так... – Кулик достал часы со стершейся позолотой, глянул, убрал. – В принципе, если что, я выгоню вас с полдороги. А теперь – ступайте за мной.

Он круто развернулся на худых ногах и размашисто пошел, почти побежал по коридору. Мы с Машей поспешили за ним. Кулик свернул раз, другой, взбежал по лестнице и исчез в распахнутой двери одной из аудиторий. Мы вбежали следом.

– Дверь на крюк! – крикнул он нам с кафедры.

Маша привычным движением замкнула дверь. Я сел с краю и вполоборота осмотрелся: в просторной аудитории сидели шестнадцать человек.

Кулик достал скомканный платок и протер очки. Надел их, крепко взялся за кафедру длинными жилистыми пальцами и заговорил:

– Здравствуйте, товарищи. Итак, сегодня мы знакомимся с новоиспеченными метеорологами в лице новичков и корректируем вектор нашего движения к месту падения Тунгусского метеорита. Учитывая, что от состава прошлогодней экспедиции осталось всего лишь трое, остальных мне пришлось турнуть к свиньям собачьим, вначале я представлю каждого из вас.

Он раскрыл толстую, замусоленную тетрадь и представил собравшихся, называя фамилию и профессию каждого. Меня он не упомянул. Захлопнув тетрадь, Кулик продолжил:

– Теперь я позволю себе сделать краткое сообщение о так называемом Тунгусском метеорите, из-за которого сломано столько копий и пройдено столько километров. Итак, 30 июня 1908 года в Восточной Сибири упал громадный болид. Падение его видели и слышали сибиряки, оно наделало много шума и оставило потрясающие следы: мощнейшая звуковая волна, пронесшаяся по всей Сибири, вывал леса на площади в сотни квадратных километров, световая вспышка и землетрясение, зафиксированное нелицеприятным сейсмографом в подвале Иркутской обсерватории. Метеорит видели не только тысячи безграмотных и суеверных обитателей Восточной Сибири, но и вполне цивилизованные люди из окон поезда под Канском, с которыми я имел длительные беседы. Суммируя свидетельства очевидцев,

можно было смело констатировать: в Сибири упал громадный метеорит, вероятно, один из крупнейших, какие валились на землю. Но метеоритика двадцать лет тому назад еще не завоевала неоспоримых прав гражданства как самостоятельная наука. Метеоритами занимались не только ученые, но и откровенные проходимцы от науки, внесшие в историю Тунгусского метеорита много лжи и путаницы. К стыду отечественной науки, никто даже не попытался организовать экспедицию по горячим, в буквальном смысле слова, следам метеорита: дело кончилось десятком газетных и псевдонаучных публикаций. И лишь при советской власти ваш покорный слуга в непростом 1921 году, благодаря личной поддержке наркома Луначарского, сумел организовать первую метеоритную экспедицию. Товарищ Луначарский провел через Наркомпрос необходимую сумму денег, от НКПС направил для экспедиции вагон, а также обеспечил нас необходимым оборудованием. Присутствующий здесь Николай Савельевич Трифонов – предпоследний из могикан той легендарной экспедиции – в пути расскажет вам подробно о первом походе за тунгусским дивом. Первая экспедиция не нашла метеорит, но точно определила район его падения: бассейн Подкаменной Тунгуски, или Катанги, как называют ее эвенки. Систематизировав свидетельские показания очевидцев падения, я сделал вывод в своей статье для журнала «Мироведение»: в 1908 году в Восточной Сибири упал метеорит колоссальных размеров. К сожалению, по ряду объективных и субъективных причин, одна из которых – НЭП, следующая экспедиция смогла выехать в Сибирь из Ленинграда только в прошлом году. На этот раз нам помогли академик Вернадский и лично товарищ Бухарин. Экспедиция № 2 почти дошла до места падения метеорита. Но «почти», товарищи метеорологи, в науке не считается. Ошибка второй экспедиции была в выборе времени. Чтобы пройти по таежным болотам, мы решили отправиться на Катангу в феврале, когда лед наведет естественные переправы через топь. С одной стороны – это помогло, с другой – помешало. Лошади не смогли пройти от Ванавары до места вывала леса по оленьей тропе: снег оказался слишком велик. Договорившись с эвенками, мы вдвоем с Трифоновым поехали на оленях, отправив нытиков и паникеров назад, в Тайшет. Увы, не каждый ученый готов к испытаниям во имя науки! Через трое суток тяжелейшего пути по заснеженной тайге наш неутомимый проводник эвенк Василий Охчен вывел нас к границе вывала леса. Когда мы с Николаем Савельевичем поднялись на сопку и увидели поваленный, переломанный лес, тянущийся до самого горизонта, нам стало по-настоящему жутко и радостно: такое феноменальное разрушение тайги могло произойти только по воле огромного болида! Невероятное зрелище! Столетние лиственницы и сосны были поломаны, как карандаши! Вот какова сила падающего на землю посланца из космоса! Немудрено, что эвенки отказались идти дальше – шаманы запретили им входить в «проклятое место». У некоторых из них во время падения метеорита там погибли олени и сгорели чумы. Охчен на всю жизнь запомнил страшный грохот и огонь с неба. Да! Лес не только был повален, но и горел, опаленный сильнейшей вспышкой от взрыва. Итак, товарищи, вторая экспедиция повернула назад. Экспедиция № 3 находится сейчас в этой аудитории. И мне оч-ч-чень хочется надеяться, что ее не постигнет печальная участь второй экспедиции! Я буду и впредь беспощаден к нытикам и паникерам. Уверен, что среди вас их нет. Итак! За это время нас стало больше. Здесь присутствуют люди разных профессий: астрономы, геофизики, метеоритологи, буровики и даже кинооператор. Студенты-энтузиасты, возжелавшие идти с нами, надеюсь, в полной мере утолят свою жажду к открытиям и приключениям. Мы берем с собой солидное оборудование: аппаратуру для метеоритологических, гидрологических, геологических и фотографических работ, комплекты буров, помпу для откачки воды и различные инструменты. Теперь о маршруте....

Кулик сошел с кафедры, развернул лежащую на столе карту, повесил ее на доску и взял деревянную указку.

– Мы отправляемся завтра с Московского вокзала. Едем на поезде до Тайшета. Там нас встречают тридцать подвод, которые везут нас и оборудование по конному тракту 400 кило-

метров до поселка Кежма на реке Ангара, где мы меняем лошадей, садимся верхом и едем по таежной тропе еще километров 200 до поселка Ванавара на самой Подкаменной Тунгуске. В этом поселке – фактория Госторга, снабжающая эвенков продовольствием, порохом и дробью в обмен на пушнину. Последний, так сказать, форпост цивилизации. Место падения метеорита находится в восьмидесяти километрах к северу от Ванавары. Туда мы и пойдём по оленьей тропе. Пройдя в зону вывала леса и определив точное место падения метеорита, мы построим там барак из леса, заблаговременно поваленного для нас метеоритом, справим новоселье и начнем свою научную деятельность. Вопросы?

Полноватый астроном Ихилевич поднял руку:

– Как долго может продлиться экспедиция?

– Коллега, не задавайте метафизических вопросов, – парировал Кулик. – Пока не найдем!

– Пока хватит продовольствия, – заулыбался невзрачный Трифонов.

– Пока мороз не ударит! – подхватил маленький и вертлявый буровик Гридюха.

Студент-энтузиаст с еле различимой бородкой сутуло приподнялся:

– Товарищ Кулик, а правда, что курящих... того... вы не берете?

– Истинная правда, молодой человек! Табачный дым не переносу. И считаю курение вреднейшей привычкой старого мира. Мы с вами строим новый мир. Так что выбирайте – табак или Тунгусский метеорит!

Все засмеялись. Студент поскреб подбородок:

– Ну, того... Метеорит.

– Прекрасный выбор, юноша! – воскликнул Кулик.

Все засмеялись еще громче.

– Ах, Боже мой... – качала головой Маша. – Как ужасно, что он не берет в экспедицию женщин. Это такая ошибка! Я бы дневник вела...

– И еще, товарищи! – посерьезнел Кулик. – Местное население, с которым нам предстоит работать, – эвенки и ангарцы, деньгам предпочитают продовольствие, а более всего – порох, дробь и спирт. Боеприпасов у нас с избытком, а вот спирта нам много не дают. Так что если каждый из вас прихватит с собой фляжку спирта, это заметно ускорит наше продвижение по тайге. Вопросы? Нет? Тогда – за дело, товарищи! Николай Савельевич проинформирует вас.

– Попрошу всех проследовать на паковку багажа, – привстал Трифонов.

Собравшиеся повставали, заговорили. Кулик снял очки и, близоруко щурясь, протирал их:

– Да! Вот еще...

Все тут же смолкли. Кулик надел очки и посмотрел на меня:

– Среди нас будет человек, родившийся в момент падения Тунгусского метеорита.

И я понял, что Кулик взял меня в экспедицию только из-за этого. Все с любопытством повернулись ко мне.

– В каком месте вы родились? – спросил Трифонов.

– В тридцати верстах к северу от Питера, – ответил я.

– Километрах, километрах, юноша! – поправил Кулик. – Гром ваша мамаша слышала при родах?

– Слышала. И не она одна, – ответил я.

– Его в тот день слышали по всей Руси, – произнес сумрачный геолог Янковский.

– А что еще вам рассказывали про день вашего рождения? Было ли еще что-нибудь необычное? – пристально смотрел на меня Кулик.

– Необычное... – Я задумался и вдруг вспомнил: – Конечно. Было. Родные говорили, что тогда совсем не было ночи. И небо сильно светилось.

– Совершенно верно! – поднял длинный палец Кулик. – Это явление было отмечено на всем побережье Балтийского моря, в северной части Европы и России – от Копенгагена до Енисейска! Аномальное свечение атмосферы!

– О чем писали Торвальд Кооль и Герман Зайдель, – закивал головой Ихилевич. – Яркие зори, массовое развитие серебристых облаков...

– Массовое развитие серебристых облаков... – громко повторил Кулик, задумался и вдруг резко ударил кулаком по кафедре. – В этот раз мы обязаны найти метеорит!

– Найдем! Никуда не денется! Для того и едем! – загалдели все.

– Саша, Саша, как это прекрасно! – Маша повернула ко мне свое раскрасневшееся лицо. – Найди, найди Тунгусский метеорит!

– Постараюсь, – пробормотал я без особого энтузиазма.

Мне просто хотелось куда-то ехать. Ехать и ехать, как *тогда*.

На следующий день мы отбыли поездом Ленинград – Москва – Иркутск, в котором для нас был выделен целый вагон. Четверо суток до Тайшета прошли в разговорах и спорах, в которых я был пассивным слушателем. В нашем вагоне № 12 спорили на актуальные темы: о коммунизме, о свободной любви, об индустриализации, о мировой революции, о строении атома и, конечно же, о Тунгусском метеорите. Все это сопровождалось отличным по тем временам питанием и бесконечным питьем чая с неограниченным сахаром, что мне, после полуголодной жизни, было особенно приятно. Наевшись конской колбасы, балтийской селедки, вареных яиц, хлеба с коровьим маслом и напившись крепкого чая, я залезал на верхнюю полку и в полудреме смотрел в окно, где проплывали бесконечные вологодские и вятские леса. После уральских невысоких гор их сменил ни с чем не сравнимый сибирский ландшафт, а от Челябинска до самого Новосибирска раскинулось беспредельной ширью дно древнего, по словам Кулика, моря, поросшее сосной и лиственницей. И глядя на этот простор, я засыпал.

Отношения в экспедиции сложились хорошие, все были дружны и благожелательны. Загадочный метеорит, о котором благодаря Кулику уже стали писать в советских газетах, притягивал и будоражил воображение. Мне было приятно думать о нем, лежа на верхней полке. Но я всегда представлял его еще парящим во Вселенной. Так мне было еще *приятней*. Споры о его составе, скорости и размерах шли бесконечно. Кулик заражал всех своим энтузиазмом, переходящим в фанатизм. За это ему прощались диктаторские замашки, бытовой терроризм и нетерпимость в дискуссиях. В экспедиции он принципиально говорил всем «товарищ», игнорируя имена и отчества. После победы советской власти в России его «научный марксизм» еще более укрепился. Кулик боготворил «железную последовательность Сталина» и верил в грядущий советский экономический рывок, способный «доказать всему миру диалектическую объективность нашего пути».

В Тайшет мы приехали утром.

Нас встретили мужики на добротных сибирских подводах, жаркая солнечная погода и тучи комаров. Такого количества кровососущих насекомых в воздухе я не видел прежде никогда. Всем были розданы панамы с марлевыми забралами, изготовленные по эскизу Кулика, имевшего большой опыт общения с местными комарами. В этих одинаковых серых панاماх мы были похожи на китайских крестьян. Погрузившись на подводы, мы тронулись в неблизкий путь по тракту, именуемому нашими ямщиками «шоссе», – широкой, но неровной насыпной дороге. Рывтины и колдобины испещряли ее. К нашему счастью, июнь 1928 года в Восточной Сибири выдался сухим, и грязевые лужи на дороге оказались вполне преодолимыми. Зато мосты через неширокие речки почти все находились в плачевном состоянии и требовали ремонта. Некоторые из них были почти полностью разрушены весенними паводками. Приходилось объезжать их и переправляться вброд. Когда в очередной раз мы, спешившись, толкали свои подводы через шатающийся мост, Кулик цитировал какого-то

французского путешественника: «...и по пути нам попадались сооружения, которые приходилось объезжать стороной и которые по-русски назывались ле мост».

Дорога пролегла через холмистую тайгу, поросшую смешанным лесом. Но вершины этих плавных холмов, называемых здесь сопками, были сплошь покрыты густым сосняком. Эти потрясающие девственные массивы напоминали мне гривы спящих чудовищ. Стройные корабельные сосны росли невероятно густо, и когда ветер начинал качать их, они оживали, а вместе с ними и вся сопка словно просыпалась, и казалось – спящий монстр сейчас приподнимется, распрямится и огласит таежный простор могучим ревом.

Но настоящие звери, несмотря на девственность этого края, попадались нам довольно редко: кто-то видел куницу и лося.

Ехали мы крайне медленно, почти неделю, ночуя в небольших деревнях, похожих на северные русские хутора. Вокруг пяти-шести изб, рубленных из столетних сосен и обнесенных внушительным частоколом от зверей, расстилалась бесконечная тайга. Местные жители были нам всегда рады: прямодушные, закаленные суровой Сибирью, они жили в основном охотой, рыбалкой и проезжающими по «шоссе», для которых всегда стоял отдельный сруб с печкой и нарами. Мы платили им пороховом и спиртом. Советские деньги здесь были еще редкостью, а сталинская программа всеобщей коллективизации пока не дотянулась до этих диких мест. Хуторяне угощали нас свежепойманной рыбой, жареными грибами, вяленой дичью и неизменной мучной похлебкой, заправленной черемшой, диким луком, сушеной морковью, чесноком и солониной из оленины или лосятины. Ночевали мы вповалку в срубках, банях, овинах и сенных сараях. А наши неприхотливые ямщики ставили на ночь телеги в круг, внутрь круга заводили лошадей, разжигали снаружи круга костры и спали на телегах, накрывшись, несмотря на лето, неизменными тулупами.

На шестые сутки наш обоз прибыл в Кежму.

Крупный поселок в сотню домов стоял на высоком красивом берегу Ангары – широкой и сильной реки. Круто обрываясь, берег переходил в небольшую песчаную отмель, за которой текла эта могучая река. Вода в ней, как и во всех сибирских реках, была холодной и невероятно чистой. Противоположный лесистый берег обрывисто тянулся вдаль.

В поселке в основном жили русские, прозванные ангарцами, и редкие обрусевшие эвенки. Те и другие занимались охотой и рыбалкой. Добытая пушнина сдавалась государству за очень небольшие деньги, а рыба, лосятина и оленина надежно кормили круглый год. Домашних животных ангарцы не держали.

В Кежме для нашей экспедиции начал действовать кредит Госторга: мы получили восемь мешков вяленых щук, муксунов и пеляди, три бочки соленой нельмы, бочонок сала и пару мешков рыбной муки. Помывшись и попарившись в сибирской бане, мы отдались гостеприимству тамошнего начальника, бывшего по совместительству председателем сельсовета и хозяином Госторга. С Куликом он держался как со старым приятелем, показывал вырезку из тайшетской газеты о прошлогодней экспедиции. Больше всего начальника радовало, что мы «доперли сюда из самого Питера, где Ильич устроил буржуйам карусель». Бывший красный партизан, воевавший на Урале, после победы большевиков он был командирован ими в далекую Кежму «провести линию партии». Прибыв сюда с конным отрядом, он за три дня «окончательно и бесповоротно решил вопрос советской власти в Кежме»: расстрелял двенадцать человек.

– Теперь понимаю – надо было больше... – чистосердечно признавался он за стаканом спирта, разведенного студеной ангарской водой.

В Кежме у него было две жены – старая и новая, которые прекрасно ладили между собой и устроили для нас настоящее пиршество: длинный грубый стол в избе начальника ломился от яств. Здесь я впервые в жизни попробовал пельмени с медвежьим салом и шаньги – маленькие пшеничные лепешки, зажаренные на сковороде и политые сметаной. Про метео-

рит начальник знал лишь одно: «что-то там грохнуло и повалило лес». В своих напутствиях он был категоричен, советовал с эвенками не церемониться и в случае чего «бить промеж косых глаз прикладом». Неудачу прошлогодней экспедиции он списывал целиком на саботаж коренного населения и «гнилое мягкосердечие» Кулика. Эвенков он звал тунгусами и считал скрытыми врагами советской власти:

– Я поначалу-то думал, раз в тайге в чумах живут, просто едят, просто одеваются, срут на ветру – значит, за советскую власть. А оказалось – кулаки кулаками! Только и считают – у кого оленей больше. Среди них свою революцию надо делать! Своего тунгусского Ленина искать!

Кулик пытался возражать ему, говоря, что главная проблема всех отсталых народов в СССР – поголовная безграмотность, выгодная царскому режиму для эксплуатации, и что партия этим уже занялась, организуя избы-читальни и школы для туземцев, что эвенков, как и всех крестьян и животноводов, скоро начнут коллективизировать, но начальник был непреклонен:

– Андреич, была б моя воля, я бы их по-своему коллективизировал: в вагон да в город на земляные работы. Лопата перевоспитает! А оленей забил бы да голодающим Поволжья отправил.

– Голод в Поволжье победили два года назад, – с гордостью сообщил Кулик.

– Правда? – красномордо улыбался захмелевший начальник. – Ну тогда оленей сами съедем.

Наутро, переложив только необходимую провизию в рюкзаки, мы надели их, сели верхом на местных лошадей и тронулись по более узкому тракту, протоптанному оленями. До Подкаменной Тунгуски от Кежмы предстояло проехать еще 200 километров на север. Обоз с основным багажом тронулся следом.

Тракт шел через сопки. В гору мы ехали шагом, с горы – изо всех сил подгоняли наших тихоходных широкогрудых лошадей. Они тяжело трусили по долгому склону. Потом – снова подъем, и так до бесконечности.

Тайга на сопках изменилась: сосна довольно быстро уступила место лиственнице, смешанный лес сполз в долины, земля постепенно покрывалась мхом и лишайником. Стали часто попадаться звери. Их приветствовали вскриками. В чашобе взлетали дикие птицы, хлопая тяжелыми крыльями. Я видел несколько раз колонков и горностаев. Спугнутые нами, они молниеносно взбирались на лиственницы и исчезали в хвое. Среди нас было два заядлых охотника: буровик Петренко и геолог Молик. На первой же стоянке они отправились за дичью и довольно быстро вернулись с убитой глухаркой. Большую и красивую птицу ошпарили, выпотрошили, разрезали на куски и сварили вместе с пшенной кашей. Но мясо ее оказалось жестким и отдавало хвоей. В первую экспедицию Кулик сделал большую ставку на местную дичь, надеясь ею подкормиться. Но ему не повезло: за все время они подстрелили только несъедобную лису и несколько уток. Первая наша ночевка в тайге была непростой: нарубив соснового лапника, мы соорудили себе постели, легли вокруг костра и попытались заснуть, накрывшись верхней одеждой. Но несмотря на теплую летнюю погоду, от каменистой и мшистой земли тянуло вечным холодом, который забирался под одежду. Сверху же нас донимали комары, не унимающиеся даже ночью. Среди комариного племени появились мелкие, проворные и неистовые особи, именуемые гнусом. Тонко, противно пища, они забиралась в рукава, лезли в глаза и ноздри. Бороться с ними было невозможно. По совету Кулика мы мазали запястья и шею керосином. Вскоре экспедиция стала вонять как керосиновая лавка. Следующие три ночевки дались так же трудно: люди не высыпались, чертыхаясь и прячась от ночного холода и комаров, а днем тряслись полусонные в седлах. Но Кулик был несгибаем. Он будил нас ровно в шесть часов своим футбольным свистком, который носил в нагрудном кармане, поддерживая в экспедиции железный режим. Этим же свист-

ком он командовал начало движения и остановку. Его главным лозунгом было: ради великой цели можно стерпеть все. В людях он превыше всего ценил волю и целеустремленность, а в материальном мире – книги. Сидя с нами у костра, он рассказал, как в ссылке ему помогла бросить курить книга Шопенгауэра «Мир как воля и представление»:

– Сутки я читал, а наутро вышел из своей лачуги, подошел к проруби и высыпал туда весь годовой запас табака со словами: «Пускай теперь рыбы курят. А я – человек воли!»

Как и многие социал-демократы, ставшие большевиками, он жил будущим, свято веря в новую советскую Россию.

– Наука должна помочь революции, – повторял он.

Ленинский план ГОЭЛРО он считал гениальным и провидческим, а сталинскую программу индустриализации и коллективизации – велением времени. Но его главной страстью все-таки был Тунгусский метеорит. Заговаривая о нем, Кулик забывал про Сталина и ГОЭЛРО.

– Вы представьте себе, товарищи, кусок, отколовшийся от другой планеты, отделенной от нас миллионами километров, лежит где-то здесь, неподалеку. – Кулик делал паузу, поправлял очки, в которых отблескивало пламя костра, и слегка поднимал голову к неярким сибирским звездам. – И в нем – материя иных миров!

От этой фразы у меня мурашки пробегали по коже: родной мир планет всплывал в памяти. Засыпая на куче сосновых веток, накрывшись с головой от гнуса, я представлял этот загадочный кусок иных миров, в черном безвоздушном пространстве подлетающий к Земле и переливающийся всеми цветами радуги. Он кружился в моей голове. И проваливаясь в сон, я считал его углы...

Наконец к вечеру четвертого дня, опухшие от гнуса и разбитые от тряской езды по сопкам, мы подъехали к Ванаваре.

Десяток новых деревянных домов лепились на самом берегу Подкаменной Тунгуски: пару лет назад факторию отстроили заново. На самом солидном срубе виднелась крупная белая надпись ГОСТОРОГ и висел полинялый красный флаг. Вокруг поселка расстилался потрясающий по красоте ландшафт: очень высокий, круто-скалистый берег реки, приютивший факторию, со всех сторон окружала густая тайга. Противоположный южный берег, наоборот, был довольно низким, и за ним далеко-далеко, до самого горизонта зелено-голубыми волнами разбегались бесконечные сопки, залитые лучами заходящего солнца. В вечернем розовато-голубом небе с проступившей луной парили орлы. Их короткие переделки были единственными звуками, нарушающими абсолютную тишину.

Но завидя нас, залаяли собаки и вышли люди. Кулика и Трифонова встретили как родных. Для заброшенной в тайге фактории наше появление стало событием. Была срочно устроена баня, стоящая внизу на реке. Дров для нее не жалели, в парной клубился густой пар. Когда мы, напарившись до помутнения в глазах, выбежали на деревянный мосток и кинулись в холодную Тунгуску, уже стемнело. Белые северные ночи миновали, и густо-синее небо с россыпью звезд повисло над нашими головами. Перевернувшись на спину и чувствуя сильное течение реки, я смотрел на звезды. В Сибири они были выше и казались совсем далекими.

Нас накормили ухой и шаньгами, уложили спать. Наутро я осмотрел факторию. В ней жили двадцать восемь русских, шестнадцать эвенков, три китайца и двое чеченцев, сосланных сюда еще при царе за кровную месть. Здесь они занимались кузнечным делом. Госторг же, как и везде в Сибири, скупал за бесценок пушнину у эвенков и местных охотников, торгуя тем, что завозилось обозом. Зимой пушнину возили в Кежму на оленьих санях.

Через пару дней приполз и наш обоз. В пути не обошлось без приключений: лошадь сломала ногу, и ее пришлось пристрелить, а двое ямщиков сбежали, прихватив три ружья и рюкзак боеприпасов. Но Кулика это не очень огорчило: он был рад, что довели оборудо-

вание и съестные продукты. Вообще по прибытии в Ванавару он стал нервничать и часто выходил из себя даже по пустякам. На меня он накричал, когда я уронил барометр, а двум буровикам пригрозил изгнанием за небрежное обращение с багажом. В экспедиции был один тридцатилетний астроном, Яков Ихилевич, непрерывно ведущий профессиональные «метеоритные» разговоры с Куликом. Почти всегда они заканчивались спорами на повышенных тонах, причем первым срывался Кулик, упрекая Ихилевича в «узколобости и метафизическом мышлении». Математик по образованию, Ихилевич, делая расчет падения метеоритов, вывел собственную универсальную формулу, по которой метеорит крупнее 248,17 тонны не может упасть на землю, не расколовшись на очень мелкие части. Он был абсолютно уверен, что от Тунгусского метеорита почти ничего не осталось, и оказался в экспедиции только для подтверждения своей теории. Кулик же, жаждущий найти упавшую с неба «материю иных миров» в виде огромной глыбы или многотонных кусков, взял с собой «зануду Ихилевича, дабы посмеяться в его лице над всеми кабинетными учеными червями». Засыпая у костра, я нередко слышал сквозь сон глухое, до тошноты обстоятельное бормотание Ихилевича и резкий, высокий голос Кулика.

Но в Ванаваре бесконечным дискуссиям с Ихилевичем пришел конец. Едва низкорослый, похожий в своем пенсне на сову Яков Иосифович заикнулся о «распылении гиперметеоритной массы при ударе», Кулик оборвал его:

– Коллега, если вы пошли с нами, чтобы мешать, я вас отправлю назад.

Это было слишком. Ихилевич обиделся и перестал разговаривать с Куликом. Ссора усилила всеобщее возбуждение. До зоны вывала леса оставалось *всего* 80 километров. Молодежь рвалась вперед, но наученный прошлым опытом Кулик на этот раз хотел все просчитать и подготовить. Двигаться дальше суждено было по узкой оленьей тропе. Обозы по ней пройти не могли. Вся поклажа навьючивалась на лошадей. Решено было продвигаться двумя группами: первая с легкой поклажей выезжает на лошадях, через двадцать верст разбивает лагерь, готовит еду и ночлег; вторая группа ведет тяжело навьюченных лошадей шагом и к вечеру приходит в лагерь; там все ночуют, наутро группы меняются местами: кто прежде вел лошадей, едут на них верхом вперед, чтобы разбить новый лагерь. Кулик планировал преодолеть «тропу Охчена» за четверо суток. Треть провизии оставалась на фактории и должна быть подвезена нам уже силами ванаварцев.

Сам Василий Охчен, прошлогодний проводник Кулика, появился в Ванаваре на следующий день после нашего прибытия. Пятидесятилетний эвенк пришел со своего становья, что в двух днях хода, вместе со своим племянником. Как он выразился: «Охчен почуял, что бае приехал». *Бае* Кулик был рад ему, хотя отчасти из-за страха Охчена перед «проклятым местом» экспедиция № 2 повернула назад. Охчен был немногословен. Но наш спирт развязал ему язык. Спрашивали его, конечно же, про «огненный шар».

– Моя тогда там с оленями на Чамба стоял. А брат моя на Хушма с жена ушел, там рыба ловил. Вдруг Он напал. Шибко шумел, лес ломал, землю ворочал, оленей кончал. Брат руку ломал, жену терял. Мы бежать сюда на Катангу. Там теперь никто нету – ни человек, ни олень, – цедил он слова, посасывая свою узкую костяную трубку.

Охчен был уверен, что с неба ничего не падало, а просто грозный зверь Холи (мамонт), живущий в подземном мире Хергуи, куда раньше спускались шаманы, чтобы плотать его дыхание и набираться сил, разгневался на людей и потряс землю. А небесные птицы агды с пышущим из клювов пламенем вместе со своим братом учиром (смерчем) помогли ему – валили лес и поджигали его. Произошло это, потому что шаманы стали часто пить огненную воду (спирт) и забыли Холи. Совершенно опьянев, Охчен рассказал, как однажды мальчиком слышал голос Холи:

– Зима был очень крепкий, кедр трещал, олень не шел. Когда Сохатый (Большая медведица) на дыбы встал (в полночь), земля на Хушма открылся, пар пошел, и Холи оттуда кричал: «О-о-о-о!» А моя упал и лежал. Моя очень Холи боялся.

Вместо себя Охчен предложил в качестве проводника своего восемнадцатилетнего племянника Федора:

– Он тайга хорошо знает.

Федор молчал, кивал и улыбался. Охчен дал ему берданку и два ножа.

Рано утром первая группа выехала во главе с Куликом и Федором. Я был во второй. Мы тронулись в полдень. Нас вел Трифонов. Навьюченные лошади шли шагом. Мы вели их под уздцы по оленьей тропе. Каждую зиму олени протаптывали ее, ломая кустарник и молоденькие деревца, поэтому тропа не успевала за лето зарости. Местами, впрочем, и она зарастала, но шедшие впереди с топорами двое ванаварцев лихо прорубали дорогу. Тайга здесь была гуще ангарской. Белый, серый и зеленый мох стелился под ногами. Здесь я впервые заметил, что в тайге нет полян и травяных просветов: свободное место моментально зарастает кустарником и подростом. Не зарастают лишь водоемы и болота. Быстро идти можно только по звериным тропам. Но не успели мы пройти и половины пути до лагеря, как хлынул сильный ливень. Пришлось надеть бушлаты и продвигаться гусиным шагом. К лагерю мы пришли сильно за полночь. Первая группа тоже попала под ливень и потеряла патронташ. Промокший и сердитый Кулик кричал на всех. Поев пшенной каши с салом и напившись чая, мы завалились спать в мокрые палатки. А уже в шесть Кулик разбудил нас.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.